



MICHAEL MOORCOCK

# BYZANTIUM ENDURES

St. Petersburg  
Fantastika Book Club Publishers  
2015

МАЙКЛ МУРКОК

# ВИЗАНТИЯ СРАЖАЕТСЯ

Санкт-Петербург  
«Издательство Фантастика Книжный Клуб»  
2015

УДК 82/89  
ББК 84.4 Вл  
М 91

Michael Moorcock  
BYZANTIUM ENDURES  
Copyright © 2013 Michael and Linda Moorcock  
All rights reserved

Перевод с английского Александра Сорочана

Иллюстрация на обложке Александра Золотухина

Издательство благодарит за помощь  
в подготовке издания Андрея Зильберштейна

ISBN 978-5-91878-132-6

© А. Сорочан, перевод, 2015  
© «Издательство Фантастика  
Книжный Клуб», 2015

1971  
R. [unclear]  
[unclear]

carriage is in flames out of the  
luno multiple figures [unclear]  
[unclear]. Betrayed! →

pray to [unclear] [unclear]  
moje [unclear] - I AM DROWNING  
~~THEY BETRAYED ME~~ / men  
net [unclear]. 5 times  
Ma [unclear] [unclear]. [unclear] [unclear]

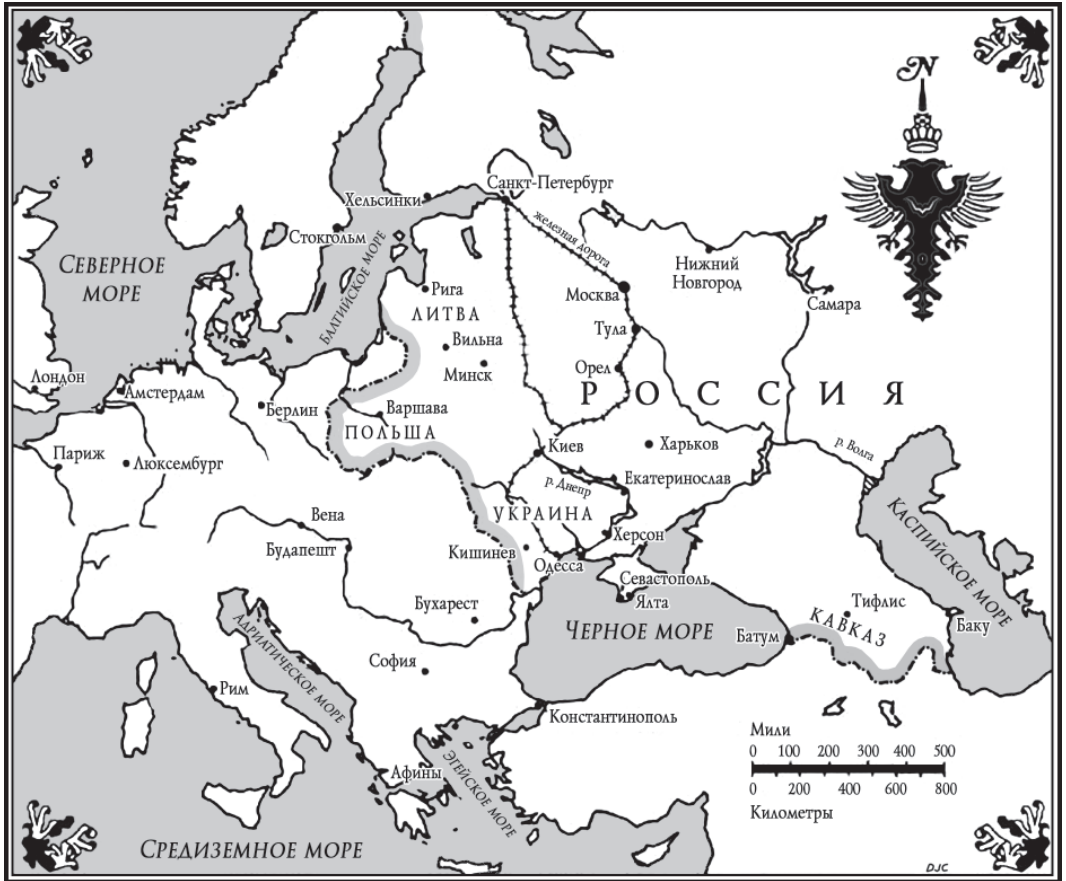
Down. Down. NEM. It dums down.  
Ouyron for [unclear]. OUYRON IN DEM  
fear. in dem the [unclear] [unclear] Mojo.  
SIOSTRA SIOSTRA [unclear] [unclear]  
IN THE [unclear] [unclear]

~~[unclear]~~  
[unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]  
ce [unclear]

I want to [unclear] the ghosts [unclear]  
★ I AM DROWNING [unclear]

they [unclear] [unclear] THEY [unclear]  
NOT [unclear] TA [unclear] [unclear]  
[unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]  
more [unclear] [unclear] THEY BETRAYED [unclear]  
[unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]  
[unclear] [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]  
rolled me. They said! [unclear] [unclear]









## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Максим Артурович Пятницкий (Дмитрий Митрофанович Хрущев),  
рассказчик.

Елизавета Филипповна, мать Максима.

Капитан Браун, шотландский инженер.

Эсме Лукьянова, подруга Максима.

Зоя, девочка-цыганка.

Профессор Лустгартен, школьный учитель.

Фрау Лустгартен, его жена.

Саркис Михайлович Куюмджан, армянский инженер.

Александр (Шура), кузен Максима.

Евгения Михайловна (тетя Женя), двоюродная бабка Максима.

Ванда, ее бедная родственница.

Семён Иосифович (дядя Сеня), двоюродный дед Максима.

Эзо, кабатчик из Слободки.

Миша Япончик, бандит из Слободки.

Витя Скрипач

Исаак Якобович

Малышка Граня

Боря Бухгалтер

Лёва

} посетители таверны Эзо.

Господин Ставицкий, торговец наркотиками.

Катя, молодая проститутка.

Мать Кати, проститутка.

Х. Корнелиус, дантист.

Гонория Корнелиус, английская авантюристка.

Со-Со<sup>1</sup>, грузинский революционер.  
Никита Грек, друг Максима.  
Мистер Финч, ирландский моряк.  
Сергей Андреевич Цыпляков (Сережа), балетный танцовщик.  
Марья Варваровна Воротынская, студентка.  
Мисс Бьюкенен, ее няня.  
Мистер Грин, агент дяди Сени в Петербурге.  
Мистер Паррот, его помощник.  
Мадам Зиновьева, квартирная хозяйка Максима в Петербурге.  
Ольга и Вера, ее дочери.  
Доктор Мазнев, преподаватель в Петербургском политехническом институте.  
Профессор Меркулов, другой преподаватель.  
Князь Николай Федорович Петров (Коля), богемный петербуржец.  
Ипполит, мальчик на содержании князя Петрова.  
Луначарский, большевик.  
Маяковский, поэт.  
Лолли Леоновна Петрова, кузина Коли.  
Алексей Леонович Петров, ее брат.  
Елена Андреевна Власенкова (Лена), соседка Марьи Варваровны Воротынской.  
Профессор Ворсин, ректор Политехнического института.  
Гетман Павло Скоропадский, марионеточный диктатор.  
Атаман Симон Петлюра, военный предводитель украинских националистов.  
Генерал Коновалец, командир сечевых стрельцов.  
Винниченко, лидер украинских националистов.  
Потаки, украинский большевик.  
Маруся Кирилловна, украинская большевичка.  
Сотник (капитан) Грищенко, казачий офицер-григорьевец.  
Сотник (капитан) Ермилов, то же.  
Стоичко, казачий офицер.  
Бродманн, социалист, офицер связи.  
Нестор Махно, лидер анархистов.  
Капитан Куломсин, офицер-белогвардеец.  
Капитан Уоллис, австралиец, командир танкового экипажа.  
Майор Пережаров, командир белогвардейцев.

---

<sup>1</sup> Игра слов: Сосо — уменьшительное от имени Иосиф и английское «так себе».

Еврейский журналист в Аркадии<sup>1</sup>.  
Мадам Зоя, хозяйка гостиницы.  
Капитан Осетров, белогвардеец, офицер разведки.  
Майор Солдатов, командир Максима.  
Главный инженер «Рио-Круз», собрат по духу.

### **Прочие персонажи:**

Кориленко (почтальон); капитан Бикадоров (казак); шлюхи и актеры в Одессе; шлюхи, актеры и художники в Санкт-Петербурге; революционеры в Санкт-Петербурге; казаки (красные, белые); полицейские, чекисты, офицеры Военно-морского флота, офицеры сухопутных войск, гайдамаки, нищие, пьяные, евреи из штетла близ Гуляйполя, обитатели селений в украинской степи и, за кулисами, Лев Троцкий, Деникин, Краснов, Ульяновский, князь Львов, Керенский, Путилов, Иосиф Сталин, Столыпин, Ленин, Антонов, Сикорский, Савинков, Катерина Корнелиус, Герберт Уэллс.

---

<sup>1</sup> *Аркадия* — курортная местность в Приморском районе Одессы, включающая одноименный пляж.



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Человек, на протяжении многих лет в районе Портобелло-роуд<sup>1</sup> именуемый «полковник Пьят», а иногда просто «старый поляк», постоянно сопровождавший в 1960-1970-х годах госпожу Корнелиус в ее излюбленных пабах «Бленхейм Армз», «Замке Портобелло» и «Элджине», в августе 1977 года стал жертвой ноттинг-хилльского карнавала, во время которого несколько чернокожих мальчиков и девочек, собиравших средства в помощь пожилым людям, вырядившись в странные карибские наряды, ворвались в его магазин и потребовали пожертвований. Сердце старика не выдержало, он умер в госпитале Св. Чарльза<sup>2</sup> несколько часов спустя. У него не осталось родственников. В конце концов, после долгой и неприятной волокиты, я унаследовал его архив.

За последние два года мы с ним успели сблизиться. Полковник выяснил, что я профессиональный писатель, и не давал мне прохода, буквально преследовал меня, настаивая, чтобы мы занялись подготовкой к печати его воспоминаний о госпоже Корнелиус, которая умерла в 1975-м. Он знал, что я уже, по его словам, «эксплуатировал» ее имя в своих книгах, догадался о моем интересе к местной истории, увидев меня впервые, несколькими годами

---

<sup>1</sup> *Портобелло-роуд* — улица в квартале Ноттинг-Хилл. Здесь расположен один из крупнейших в мире блошиных рынков.

<sup>2</sup> *Госпиталь Св. Чарльза* — больница на Эксмур-стрит, известная ныне большим количеством благотворительных программ.

ранее, когда я фотографировал старый женский монастырь клариссинок<sup>1</sup> накануне сноса. Много позже мы столкнулись во время съемок трущоб на Бленейм-кресцент и Вестбурн-парк-роуд<sup>2</sup>, также незадолго до их уничтожения. Именно тогда Пят впервые подошел ко мне. Я пытался не обращать на него внимания, но когда он заговорил о госпоже Корнелиус, называя ее «известной в Британии персоной», я проявил любопытство: эта необыкновенная женщина меня очень интересовала. Пят уверял, что весь мир пожелает прочесть его воспоминания о даме, по его мнению, не менее популярной, чем королева Елизавета... Мне пришлось подружески напомнить ему, что госпожа Корнелиус была знаменита лишь в крошечном районе Северного Кенсингтона. Мои собственные рассказы о ней были в значительной степени выдумкой. Никто не считал ее выдающейся личностью. Но Пят настаивал, что на известности дамы можно подзаработать, он был убежден, что масса читателей с нетерпением жаждет узнать подлинную историю жизни госпожи Корнелиус. Он обращался в газеты, в «Дэйли миррор» и «Сан»<sup>3</sup>, пытался продать им свою историю (ужасающее собрание рукописей на шести языках, на бумаге почти всех возможных цветов и размеров, хранившееся в одиннадцати обувных коробках), но с подозрением отнесся к предложению направить текст по почте, а не вручить лично редактору.

Пят рассказывал всем, что доверял мне больше, чем кому бы то ни было, за исключением госпожи Корнелиус. Я напоминал ему, очевидно, Михаила VIII<sup>4</sup>, последнего великого спасителя Константинополя. Полковник даже предполагал, что я — реин-

---

<sup>1</sup> *Клариссинки* (Орден святой Клары) — женский монашеский орден, основанный в 1212 году. Большинство монахинь ордена не выходят в мир, соблюдают строгий затвор; сейчас в Великобритании сохранилось 11 монастырей клариссинок.

<sup>2</sup> *Бленейм-кресцент, Вестбурн-парк-роуд* — улицы неподалеку от Портобелло-роуд.

<sup>3</sup> «*Дэйли миррор*» и «*Сан*» — газеты, основанные в 1903 и 1963 году соответственно; самые популярные британские таблоиды, публикующие скандальные материалы.

<sup>4</sup> *Михаил VIII Палеолог* (1224/1225–1282) — византийский император с 1261 года; известен тем, что отвоевал у крестоносцев Константинополь, захваченный ими во время Четвертого Крестового похода, и возродил Византийскую империю.

карнация этого византийского императора, он показал мне черно-белую фотографию иконы, на которой, как и на большинстве икон, мог быть изображен кто угодно. Тогда все носили бороды. Подозреваю, что Пьят доверился мне, потому что я ему потакал и по настоящему интересовался его жизнью, а равно и жизнью госпожи Корнелиус, всегда крайне туманно рассказывавшей о своем прошлом. Так что у меня имелся личный интерес.

Полковник Пьят не был приятным персонажем, и его нетерпимость и неистово выражаемые крайне правые взгляды оказались трудно принять. Я покупал ему выпивку в тех же пабах, которые он посещал с госпожой Корнелиус, надеясь получить материал для новых историй, но у него имелись другие планы. Не интересуясь моим мнением, Пьят решил, что я должен стать его литературным консультантом за десять процентов от аванса. Вместе, заявил он, мы должны подготовить рукопись. Предполагалось, что я представлю ее своему постоянному издателю, а мое имя и влияние, а также известность госпожи Корнелиус, позволят нам продать книгу «по меньшей мере за пятьдесят тысяч фунтов».

Я вскоре перестал ему объяснять, что авансы за первые книги редко достигают пятисот фунтов и что у меня нет никакого особого влияния. Вместо этого приходил к нему в свободное время и помогал разбирать бумаги. Я нашел переводчика, моего старого друга и соавтора М. Г. Лобковица, готового работать с рукописями большого объема, написанными на русском, плохом немецком, польском и чешском, а по большей части — на дурном английском с забавными вкраплениями французского, когда речь заходила о сексе. Также я беседовал с полковником, пытаюсь заполнить пробелы в его истории.

Мне трудно предположить, какая судьба ждала бы этот проект, если бы полковник не умер. Моя собственная работа существенно страдала. Жена говорит, что я едва не сошел с ума, полностью одержимый Пьятом. Я не мог находиться вдали от него. Он встречал многих выдающихся деятелей политики и культуры межвоенной эпохи, зачастую не понимая значительности этих людей, и, обладая способностью все запутывать, зачастую, казалось бы, невольно, отмечал весьма удивительные детали. Сначала, из-за

его ярого антисемитизма, ненависти к местным жителям, злобных и реакционных суждений о современной жизни, я с трудом сохранял уважение к возрасту и перенесенным страданиям и еле сдерживал себя. Это Лобковиц, видевший многое из того, с чем сталкивался Пьят, помог мне работать с полковником. «Великие исторические трагедии, — сказал он, — создаются из личных трагедий. Чтобы решить судьбы двенадцати миллионов человек, погибших в лагерях, нескольким миллионам Пьятов придется вступить в сговор. Его душа разрушена».

Сначала точка зрения Лобковица казалась мне слишком благодостной, даже сентиментальной, но потом, со временем, я смог примириться с ней. Кроме того, мое любопытство всегда оказывалось сильнее отвращения. Я посещал полковника по воскресеньям, записывал на магнитофон монологи. Некоторые из них почти дословно повторялись в его рукописях. Я редко использовал запутанные сведения, записи на смеси языков, оставленные Пьятом, но чтобы у читателей сложилось представление, с чем мне пришлось столкнуться, я процитирую в Приложении А фрагмент текста. Прежде всего я хочу указать на трудности, связанные с переводом, упорядочением и разъяснением содержимого архива. Факсимиле в начале книги представляет одну из наиболее пригодных для чтения страниц.

Пьят отнюдь не был глупцом в обычном смысле слова. Многие из его замечаний казались удивительно проницательными. Именно обилие противоречий в его рассказе и вынудило меня отказаться от литературной обработки материалов. Поэтому читатели обнаружат на следующих страницах очень мало иронических комментариев, а использование приемов, присущих современной беллетристике, существенно ограничено: это повествование не соответствует требованиям, обыкновенно предъявляемым к литературным произведениям. Было бы лучше считать этот текст не биографией, как предлагал Пьят (госпожа Корнелиус появляется на страницах этого тома нечасто), но автобиографией.

Это история необычайной жизни, и посему она содержит необычайные совпадения, парадоксы и странные, нелогичные заключения. Для первого тома, действие которого доведено до кон-



ца Первой мировой войны и последних эпизодов Гражданской войны в России, я отобрал материал, напрямую связанный с этим периодом в жизни Пьята. Не относящиеся к повествованию сведения я не использовал вовсе или отложил для следующих томов, где они будут более уместны. Относительно некоторых эпизодов полковник высказывался неопределенно, например, о времени, проведенном в заключении в Киеве, но в дальнейшем повествовании читатель обнаружит факты, по крайней мере объясняющие причину, по которой Пьят избегает рассказывать об этих событиях. Я пытался не углубляться в рассуждения, объединяя фрагменты истории, предпочитая, чтобы читатели решали сами, что относится к делу, а что — нет, так как их предположения могут оказаться не хуже моих собственных.

С переводом возникли огромные проблемы. Пьят в основном писал на разговорном русском, и, согласно Лобковицу, его тексты напоминают искусную прозу Андрея Белого, Бориса Пильняка и других «сказовых» авторов, у которых, как утверждает мой коллега, многое позаимствовал Набоков. Я должен признать, что практически незнаком с современной русской беллетристикой, так что мне пришлось целиком и полностью положиться на мнение Лобковица. Естественно, я испытываю огромное уважение к своему другу. Никто иной, возможно, не справился бы со всеми трудностями так успешно. У полковника Пьята было литературное чутье, но он слишком часто менял интонацию повествования. Редактирование и сокращение привели к потере некоторого противоречивого очарования оригинала (еще одна причина для включения части наиболее безумных фрагментов сочинения Пьята в приложение, а не в основной текст), хотя, я думаю, даже остатки этого «потока сознания» дают представление о состоянии духа повествователя — униженного, пораженного, охваченного ужасом человека. Лобковиц не смог перевести текст в нескольких местах, где ему не удалось даже предположить, какой именно язык использовался. Вероятно, перед нами тайный или вымышленный язык — иногда люди, склонные к паранойе, прибегают к подобным средствам. Полагаю, мне следует честно признать: в последние годы жизни Пьят страдал психическим заболеванием и иногда лечился в специальных заведениях.

Мне посоветовали включить в это введение краткое пояснение ко второй половине книги, которая посвящена приключениям Пьята во время русской Гражданской войны, одной из самых разрушительных войн в истории. Краткую информацию о ней вы обнаружите в Приложении В. Я с радостью положился на интерпретацию тогдашних событий на Украине, предложенную Лобковицем, — по крайней мере, в тех немногих случаях, когда рассказ нуждался в дополнительных пояснениях. Ясно одно: в те годы многое было поставлено на карту. Следует помнить о жестоких казачьих побоищах, о страшных погромах, особенно 1905–1906 годов, о географическом положении «пограничной области» (именно так и следует понимать само название «Украина»), богатой полезными ископаемыми и земельными ресурсами. Этот край всегда страдал от вспышек насилия, а в ту эпоху — тем более. Но если бы не большевики и союзники, надо сказать, что Украина избежала бы подобных приступов агрессии, включая запланированный сталинский голод, по крайней мере до немецкого вторжения в 1941-м, когда все ужасы повторились с увеличенной силой. Во многом недавняя история Украины может быть воспринята как концентрированная версия всей истории нашей эры. Большинство политических проблем нам знакомо. Методы, использованные для решения проблем, также известны. События на Украине стали прообразом событий во всем остальном мире, и это одна из причин моего интереса к воспоминаниям полковника. Вот почему я решил, что стоит попытаться создать нечто вроде последовательной истории из материала, который в первоначальном состоянии был абсолютно непоследовательным и разрозненным.

Я вообще не проявлял интереса к Украине и ее проблемам, пока не встретил полковника Пьята, и должен признать, что многие из моих представлений о Российской империи, которые основывались на полученной от него информации, оказались как минимум ошибочными. Его характеристика событий в России между 1900 и 1920 годами столь же пристрастна, как и любые другие его оценки. Лобковиц полагает, что я должен объяснить читателю: рассказы Пьята нельзя считать подробными описаниями реальных событий, происходивших в те годы, хотя многие из

его утверждений, связанных с простой констатацией фактов, нам удалось проверить и подтвердить.

Полковник был тяжелым, утомительным в общении человеком, и работа с ним отняла более двух лет моей жизни. Редактирование остальной части рукописи, которая поведаст его историю вплоть до концентрационных лагерей и 1940 года, займет намного больше времени. И все же я почти с ностальгией вспоминаю о тех воскресных днях, когда мы с женой посещали его неопрятную двухэтажную квартиру и слушали зачастую резкие, иногда злобные, иногда громкие нападки на ту или иную нацию, политическую партию — и на тех, кто, с точки зрения Пьята, вступил в сговор против него, чтобы лишить всех земных благ.

Квартира располагалась над его магазином. Сначала это была обычная лавка подержанной одежды, где, будучи мальчиком, я часто покупал поношенные эдвардианские наряды. Я думаю, что один из сыновей миссис Корнелиус — почти наверняка Фрэнк — в 1960-х предложил переименовать заведение в «Дух Санкт-Петербурга. Магазин подержанных мехов», чтобы воспользоваться расцветом туризма и новой модой, которая, на мой взгляд, приобрела самые отталкивающие черты. Теперь магазином управляет семейство индусов, торгующее одеждой, изготовленной на современных заводах Ист-Энда, использующих рабочий труд.

Комнаты полковника Пьята пропахли бывшими владельцами этих помещений: их нафталиновыми шариками, несвежим парфюмом и кислым ароматом старости; борщом и польской водкой под названием «Старка» — выдержанной, приятной на вкус, цветом напоминавшей ирландский виски. Водка оставалась его единственной слабостью, и я полагаю, что он пил ее, поскольку она позволяла сохранять связь с Россией его детства. «Старка» была гораздо дешевле более известных на Западе марок вроде «Столичной», но ее почти невозможно найти в Англии. Думаю, полковник пополнял свои запасы через русских моряков, выходивших в увольнение на берег в Лондоне и Тильбюри. «Старка» пахла острее большинства водок и к тому же была куда крепче. Пят лишь однажды предложил нам выпить стаканчик в обмен на несколько пачек папирос, которые я привез ему.

Хотя полковник очень слабо разбирался в английской культуре (он жил неподалеку от госпожи Корнелиус в беднейших кварталах Ноттинг-Хилла с тех самых пор, как приехал в Англию в 1940 году, заявив о своем польском происхождении), но не был ни безграмотным, ни глупым человеком. Его представления о современной культуре могли показаться весьма странными — в основном он говорил о телепрограммах и фильмах, но при этом презирал англичан за недостаток «изысканных чувств», а также за отсутствие идеализма, прагматизм и лицемерие, и почти все проблемы, не связанные с евреями или большевиками, объяснял тем, что считал нашей слабостью, — отказом от империи. Благодаря наблюдениям Лобковица я смог понять: жизнь нанесла Пьяту такие глубокие раны, что он искал спасения в фантазиях и фанатизме, но иногда было очень тяжело выслушивать мерзкие и слишком хорошо знакомые расистские высказывания, которыми он часто потчевал нас, в особенности с тех пор, как начал считать меня как минимум близким по духу человеком, «одним из немногих подлинных интеллектуалов, которых встречал в этой стране». Полковник настаивал, что Англия практически лишилась культурной жизни. А то немногое, что осталось, по его словам, выдавало наш ужасный упадок. Его жизненный опыт ничем не отличался от опыта многих других буржуазных беженцев из Европы, которые, не говоря по-английски, почти не имея денег и друзей, приехали в Англию и Америку накануне войны. Они вынуждены были поселиться в рабочих районах крупных городов, где им пришлось столкнуться с замкнутыми людьми, ничего не знающими о политических проблемах и культурной жизни, столь важной для эмигрантов. Пьят не мог понять нравы и шутки представителей лондонского рабочего класса, а приветливость и терпимость большинства окружающих, казалось, способствовала развитию у него представления, что англичане беззаботны и ленивы и не заслуживают его доверия. Но у него сохранилась романтическая привязанность к нашей стране, как вы увидите в дальнейшем.

Этот ограниченный опыт позволил полковнику предположить, что госпожа Корнелиус знаменита не меньше королевы. Все, кого он встречал в своем районе, казалось, проявляли больше интереса и дружелюбия к этой даме, чем, скажем, к Адольфу Гитлеру

или Маргарет Тэтчер. Вот почему Пьят искренне полагал, что нынешнее поколение заплатит ему за воспоминания об экстравагантной, но практически неизвестной дамочке-кокни гораздо больше, чем за частные воспоминания о великих диктаторах. Должен признаться, что мое воображение гораздо больше занимает госпожа К., чем Муссолини, но я понимаю, что очень немногие разделят мой энтузиазм. Можно также утверждать, что я был лично заинтересован в ее популярности, так же как в популярности полковника — ведь я упоминал о нем в своих книгах еще до того, как мы познакомились.

К тому времени, как я повстречал Пьята, его внешность стала довольно невзрачной. Он выглядел обычным старым европейцем, смуглым, сутулым, сварливым, немного неряшливым, с морщинистым лицом, большими губами и выдающимся носом. Его кожа имела нездоровый цвет. Он носил старомодные, покрытые пылью костюмы или спортивную одежду, наряд дополняла белая кепка для гольфа, которую он не снимал ни зимой, ни летом. Старик собирал всякий хлам, которым были завалены верхние комнаты, и владел множеством бесполезных вещей вроде старых велосипедов, бензиновых двигателей, свечей зажигания, древних электроприборов и так далее. В его квартире иногда очень сильно пахло горелым машинным маслом. Коллекция фотографий и засаленных газетных вырезок была единственным свидетельством бывшего изящества и светского лоска. Моя жена считала, что раньше он выглядел очаровательно, но я мог разглядеть на фотографиях лишь симпатичного мужчину, взгляд которого, казалось, никогда не мог ни на чем сосредоточиться. Я видел снимки, на которых он стоял у гондол воздушных кораблей, сидел в кабинах гидросамолетов, принимал участие в церемониях открытия дамб и мостов, спускал на воду корабли. Пьят, разумеется, путешествовал и встречался со многими известными людьми. Госпожа Корнелиус упоминалась лишь в нескольких газетных вырезках, но на большинстве фотоснимков, сделанных в разное время в разных странах, она присутствовала; это подтверждало ее заявления о том, что она «немного постранствовала в молодости». Полковник передал весь этот материал, вместе с рукописями, мне на хранение. Не было никаких сомнений в том, что он считал меня наследником

мемуаров и своим литературным душеприказчиком. Удивительные требования мистера Фрэнка Корнелиуса, против которого я успешно выступил в суде, давно признаны необоснованными, и у меня теперь есть законное право распоряжаться рукописями, но не изображениями. Мы с Пьятом и в самом деле были знакомы недолго, но я действительно стал его единственным другом. Он часто говорил, что это его наследство, и оно достанется мне, если что-нибудь с ним случится. Я могу пригласить свидетелей, которые подтвердят тот факт, что полковник неоднократно публично называл меня «сыном, которого никогда не знал», и человеком, способным обосновать его притязания на историческую значимость. Я должен был сохранить память о нем. Я держу рукопись в банковском сейфе и надеюсь выполнить желание Пьята.

Как я уже отметил, при редактировании этих мемуаров я столкнулся с целым рядом технических и моральных проблем. Например, полковник позволил мне воспроизводить особенности речи миссис Корнелиус по своему усмотрению, но настаивал, чтобы я сохранил его «философию». Ядовитые ремарки по поводу пола, расы и культуры почти всегда излагались на других языках, не на английском, так что их можно было исключить, но, вычеркнув их полностью, я бы лишил читателей понимания всех особенностей материала и самого Пьята. Несомненно, полковник был позером, лгуном, шарлатаном, наркоманом, преступником, но когда-то обладал огромным обаянием — это очевидно по его успехам. Люди чувствовали к нему расположение и бросались на помощь, зачастую испытывая огромные неудобства. Именно эти свидетельства, а не его собственные заявления убедили меня в том, что он не всегда был таким испорченным, как в последние годы. Кроме того, полковник оказался не совсем уж некультурным. Он превосходно схватывал технические понятия, что выглядело весьма необычно для человека его времени и происхождения. Он неплохо разбирался в искусстве и литературе, хотя его вкус, как вы увидите, иногда вызывал сомнения — в этом смысле Пьят отличался некоторой невинностью.

Мне бы хотелось, чтобы читатели сами решали, где ложь и где истина. Именно поэтому я вмешивался в исходный материал как можно реже, просто восстанавливая связность рассказа в тех слу-

чаях, где это было совершенно необходимо. Уверен, что переводы М. Г. Лобковица превосходны и очень точно передают дух оригинала. Я перефразировал и отредактировал множество предложений, чтобы улучшить их, но сохранил некоторую грубость там, где у читателя могли возникнуть сомнения в подлинности мемуаров. Проблема объема также стояла передо мной, пришлось сократить несколько эпизодов. Обычно я прибегал к сугубо литературным методам — к парафразам, например создавая усиленную версию первоначального текста. Альтернативный вариант — представить конспект некоторых фрагментов — показался менее привлекательным. Я стремился, как мог, сохранить оригинальный текст, так как уверен, что история полковника Пьята будет уникальной. Он много путешествовал и между 1920 и 1940 годами принимал участие в важнейших технических экспериментах того времени — эпохи, известной эйфорическим, оптимистичным отношением к технике, которое мы никогда не сможем возродить, но наш герой сохранил его в полной мере. Я полагаю, что он был наделен проницательностью, редко встречающейся у более искушенных профессиональных обозревателей. Эта проницательность сменялась иногда обычной наблюдательностью, с помощью которой он мог распознавать близких себе по духу людей; но он был, по его словам, «оставшимся в живых» — обладал инстинктом выживания, в отличие от моральных инстинктов, чрезвычайно сильным, который позволял ему распознавать тех, кого можно было использовать, и тех, кто думал, что сможет использовать его. Как говорил сам полковник, он не отличался благородством — проявлял жестокость по отношению к слабым или просто забывал о них; унижался перед сильными. И все-таки Пьят воплощал дух своей эпохи.

Я сохранил большую часть его громогласных заявлений о собственной гениальности, а также множество простодушных оговорок, примеры бессознательного юмора; я даже не пытался исправлять неточности в его научных теориях или изменять даты и места, которые он указывает в описаниях отдельных событий. Еще раз повторю, что я предпочел бы, чтобы читатель сам определил степень правдивости тех или иных, зачастую невероятных, историй полковника Пьята об эпохе, которая так сильно напоминает

нашу и так существенно влияет на нее. Как сказал мне Лобковиц: «История Пьята исключительна, но страдания вполне обычны».

Мне удалось навести справки и в сербской церкви, и в русской православной церкви в Бэйсуотере. Там никто не вспомнил Пьята. Мне сказали, что под это описание подходят многие из «плывущих по течению».

Я еще раз хотел бы выразить огромную признательность князю Лобковицу, Ли Фелдманн, которая смогла подтвердить некоторые из воспоминаний Пьята о Махно (она была швеей на его учебном поезде), Стюарту Кристи и Альберту Мелцеру, Чарльзу Плэтту, Максиму и Долорес Якубовски, Джорджу и Борису Хоффману, Украинскому научному институту Гарвардского университета, Джону Ключу, Хилари Бэйли и Джайлсу Гордону, который помог мне скомпоновать окончательный вариант текста, моей жене, Джилл Ричес, которой так долго пришлось жить с Пьятом — и затем, еще дольше, с его призраком, и, наконец, Саймону Кингу и Тиму Шеклтону, редакторам, которые решили, что мемуары Пьята достойны публикации.

*Майкл МУРКОК  
Лэдброк Гроув,  
май 1979*



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**Я** дитя своего века и ровесник его. Я родился в 1900 году, первого января, на юге России — древней подлинной России, где зародилась вся наша великая славянская культура. Разумеется, название «Россия» осталось в прошлом; изменился и календарь, который теперь соответствует англо-саксонским меркам. Так что, следуя новой системе имен и летоисчисления, я родился в Украинской Советской Социалистической Республике 14 января. Мы живем в мире, где множество личин упадка прикрывается мантией прогресса.

Я не еврей, как это часто предполагали невежды, с которыми мне приходилось сталкиваться. Большой казачий ястребиный нос на Западе часто принимают за отвратительный клюв стервятника.

Я не дурак. Я чувствую свое славянское происхождение, чувствую свою кровь. Она шумит в моих венах; она рокочет, как древние реки мой родины, вечно стремящиеся к гармонии с нашей святой, таинственной землей. Моя кровь принадлежит России — так же, как принадлежат ей Дон, Волга и Днепр. Она все еще слышит зов нашей огромной, бескрайней степи, под ее бездонными небесами аристократ и крестьянин, купец и рабочий ощущали собственную ничтожность и осознавали, насколько малозначительно материальное благосостояние, ибо они едины пред Богом и следуют его неисповедимыми путями. Чужеродные западные идеи создали угрозу этому единству. Все началось с промышленных городов, где дымящиеся трубы скрыли наши несравненные

русские небеса, а люди отвергли Божий кров и спасение, скрылись от милостивых очей Господа. С городов, застроенных синагогами. И тогда русский народ начал восставать и бросать вызов воле Божьей, как не посмел бы сам царь; как не посмел бы даже Распутин, сыгравший роль Крестителя при Антихристе-Ленине и разрушивший царство изнутри. Под влиянием еврейских социалистов в Харькове, Николаеве, Одессе и Киеве эти кочегары и клепальщики сначала отказались от самого Господа, затем от своей крови, а после и от своих душ, от своих русских душ. Я не могу отказаться от своей души даже после пятидесяти лет изгнания — как же тогда я могу быть евреем? Петром? Иудой? Думаю, что не могу.

Следует признать, я не всегда был религиозен. Я перешел в ортодоксальную греческую веру сравнительно поздно, и, возможно, именно поэтому я ее ценю так же высоко, как миллионы гонимых христиан в так называемом Советском Союзе, которые служат Богу с невиданным в христианском мире усердием. Я всю жизнь терпел расистские оскорбления, и в этом следует винить моего отца, который расстался с верой так же легко, как с семьей. Я познал эти страдания еще ребенком, в Царицыне, и все стало только хуже, когда мы с матерью, к тому времени, вероятно, уже вдовой, переехали обратно в Киев после погрома.

Мать была полькой, но ее семья давно осела на Украине. Она рассказывала, что мой отец был потомком запорожских казаков, в течение многих столетий защищавших славян от нашествий с Востока и натиска империализма с Запада. Мой отец подхватил радикальные идеи сначала в Харькове, где служил чиновником, а потом и на военной службе. После выхода в отставку он жил в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Потом у него начались проблемы с властями. Отца выслали в Царицын. Многие из этих названий, вероятно, незнакомы современному читателю. Санкт-Петербург был переименован в Петроград в 1916-м<sup>1</sup>, с целью избавиться от всяких напоминаний о Германии в названии столицы. Теперь город именуется Ленинградом. Несомненно, название поменяют снова, как только появится новое политическое веяние. Царицын стал Сталинградом и затем Волгоградом, поскольку

---

<sup>1</sup> На самом деле Санкт-Петербург был переименован в Петроград в 1914 году.

прошлое в очередной раз пересмотрели, а неизбежное будущее и непостоянное настоящее требуют новых лозунгов и слов, способных даже самых здравомыслящих граждан превратить в шизофреников. Царицын, вероятно, сейчас называют как-то иначе. Как именно, не знает никто, и уж точно не те украинские националисты, эмигранты, с которыми я иногда беседую после церковных служб. Они стали такими же невежественными, как и все прочие местные жители. Мне трудно отыскать равных себе. Я культурный человек, получивший университетское образование в Санкт-Петербурге. Но какая польза от образования в этой стране, если ты неходишь в «круг бывших однокашников»<sup>1</sup>, если ты не гомик из Центрального управления информацией<sup>2</sup> или Би-би-си или не любовник принцессы Маргарет<sup>3</sup>, если ты не один из многих псевдоинтеллектуалов, которые являются сюда и выдают себя за крестьян, что, вероятно, недалеко от правды? Просто удивительно, как легко эти чехи, поляки, болгары и югославы умеют выдавать себя за академиков и художников. Я постоянно вижу их имена на книгах в библиотеке, в титрах похабных фильмов. Я до них ни за что не унижусь. А что касается девушек, все они — шлюхи, которые нашли на Западе добычу побогаче. Я вижу двоих почти каждый день, когда покупаю хлеб в литовском магазине. Они выставляют напоказ длинные светлые волосы, огромные накрашенные губы и роскошные платья, их кожа покрыта косметикой, они насквозь пропахли духами. Они постоянно трещат почешки. Они приходят ко мне за меховыми шапками и шелковыми юбками, а я отказываюсь их обслуживать. Они смеются надо мной. «Старый еврей думает, что мы русские», — говорят они. Ах, если б это было так! Настоящие русские получили бы скидку. Девчонки говорят по-русски, конечно, но они наверняка из Чехии. Поверьте мне, я знаю, что и сам могу вызвать подозрения, потому что я не сообщаю никому, даже британским властям, свою

<sup>1</sup> Имеется в виду, что ты неходишь в число выпускников привилегированных частных школ, деловые и дружеские связи с которыми могли бы тебе помочь.

<sup>2</sup> *Центральное управление информацией (Central Office of Information)* — созданное в 1946 году агентство, занимающееся связями с общественностью, подготовкой и распространением правительственных информационных и пропагандистских материалов как внутри страны, так и за рубежом.

<sup>3</sup> *Принцесса Маргарет (1930–2002)* — младшая сестра королевы Елизаветы II.

настоящую фамилию. Мой отец много раз менял ее во время революционной деятельности. По различным причинам мне тоже приходилось брать другие имена. У меня все еще есть родственники в России, и было бы нечестно по отношению к ним использовать нашу общую фамилию, у нас очень значительные аристократические связи — и по отцовской, и по материнской линии. А всем хорошо известно, как большевики относятся к аристократам.

Вот какого сорта эти девицы. Коммунизм уничтожил их задолго до того, как они явились на Запад. Никакой морали! Есть у чехов такая шутка: коммунисты избавились от проституции, сделав всех женщин шлюхами. Я помню точно таких же девушек, из хороших семейств, отлично говоривших по-французски. Пятьдесят лет назад они ползали по полу заброшенного Fisch château близ Александрии<sup>1</sup>, когда снаряды свистели повсюду в темноте и половина города была охвачена огнем. Грязные и голые, они прикрывали свою наготу дорогими мехами, подаренными бандитами Григорьева. Некоторым не исполнилось и пятнадцати лет. Их маленькие груди раскачивались, плотные губы открывались, чтобы принять нас, они были крайне развратны и наслаждались всем этим. Я почувствовал тошноту и сбежал оттуда, рискуя жизнью, и до сих пор чувствую отвращение, вспоминая об этом. Но следует ли винить девушек? Тогда — нет. Сегодня, в свободном мире, я отвечу: «Да, следует». Ведь в Европе у них есть выбор. И они представляют здесь славянских женщин, столько лет остававшихся чистыми, прекрасными хранительницами домашнего очага. Вот что происходит, когда люди отвергают свою веру.

Моя мать, несмотря на польское происхождение, в своих религиозных предпочтениях склонялась скорее к греческой церкви, чем к римской, хотя, насколько мне известно, она не посещала храмы. Зато соблюдала все православные праздники. Я не помню икон, но уверен, что они были. В алькове у нее висел портрет моего отца в мундире, перед которым всегда горели свечи. Здесь матушка молилась. Она никогда не осуждала отца, но часто напоминала мне о том, как он сбился с пути. Он отринул Бога. Став

---

<sup>1</sup> *Александрия* — уездный город, входивший в состав Херсонской губернии (ныне — Кировоградская область), столица «государства» атамана Николая Григорьева.

атеистом, принял участие в восстании 1905 года и, вероятно, был убит, хотя обстоятельства его смерти так и не удалось установить. Мать не говорила прямо, когда об этом заходил разговор. А мои собственные воспоминания исключительно запутанны, припоминаю лишь ощущение ужаса, которое испытал, прячась, кажется, под какой-то лестницей. Но, если задуматься, уравнение представляется достаточно простым: Бог лишил моего отца своей милости и поддержки в наказание. Я очень мало знал о родителе, за исключением нескольких фактов: он служил офицером в казачьем полку, но отказался продолжать карьеру, его семья была довольно богатой, но отвергла его. Мои тактичные родственники никогда о нем не вспоминали. Только дядя Семен в Одессе изредка говорил об отце, но это всегда звучало как ругательство: «Дурак, но дурак с мозгами. Хуже быть не может». В любом случае я ничего об отце не помню, поскольку он редко бывал дома, даже в Царицыне, а мои воспоминания о тех днях ограничивались несколькими узкими, пыльными, невзрачными проулками, по которым мы проезжали, возвращаясь в Киев, где жила сестра моей матери. Здесь они обе работали белошвейками. Это стало ужасным падением для такой женщины, как моя мать, наделенной утонченной чувствительностью, говорящей на нескольких языках и разбирающейся в литературе и науке. Позже она стала управлять паровой прачечной, а после того, как ее сестра во второй раз вышла замуж, мы переехали в двухкомнатную квартиру неподалеку от места работы. Дом стоял в зеленой части города, окруженный старыми деревьями, рощами, парками и полями, рядом с Бабьим Яром, ставшим моей любимой детской площадкой.

Здесь я мог защищать Хайберский проход Киплинга<sup>1</sup> или, играя роль Верной Руки из романов Карла Мая<sup>2</sup>, исследовать Скалистые горы, сражаться в Бородинской битве, защищать Византию

---

<sup>1</sup> *Хайберский проход* — проход в горном хребте Сафедкох, на границе между Афганистаном и Пакистаном. Здесь велись активные боевые действия во время трех афганских войн. Имеется в виду «Баллада о царской шутке» Р. Киплинга: «Когда в пустыне весна цветет, / Караваны идут сквозь Хайберский проход» (пер. А. Оношкович-Яцыны).

<sup>2</sup> *Карл Фридрих Май* (1842–1912) — немецкий писатель, поэт, композитор, автор вестернов, в том числе циклов о Верной Руке и Виннету.

от нашествия турок. Иногда я отправлялся на берег Днепра и был Гекльберри Финном, Ахавом<sup>1</sup>, капитаном Немо.

Уже тогда в Киеве начались революционные бедствия. Агитацией занимались главным образом рабочие в фабричных предместьях за ботаническим садом, в огромных кварталах одноэтажных домов, столь же неприметных и грязных, как и сегодня. Власть весьма решительно подавляла волнения, но все, что я знал об этом, сводилось к одному: мать не выпускала меня на улицу или запрещала ходить в школу. В целом, однако, мне удалось избежать неприятностей. Киев был замечательным городом для подростка. Неподалеку от нашего дома пролегалла дорога, ведущая через овраги. Этот район называли киевской Швейцарией. Таким образом, я обладал всеми преимуществами обоих миров, деревенского и городского, хотя мы были совсем не богаты.

Киев, как и вся Украина вообще, вдохновлял и художников, и мыслителей. Добрая половина величайших русских писателей создала здесь свои известнейшие произведения. Лучшие русские инженеры родом отсюда. Даже евреи здесь процветали. Но им, как всегда, было мало.

Возведенный на холмах над рекой, город соборов и монастырей с блестящими куполами-луковицами, украшенными медью, золотом и ляпис-лазурью; со множеством огромных общественных зданий из знаменитого желтого песчаника, деревянных домов с резными фасадами, переполненных уличных рынков, памятников, больших магазинов и театров Крещатика, нашей главной улицы; с университетом и различными институтами, ботаническим садом, зоопарком, современными трамваями; с площадями, сверкающими электрическими вывесками и рекламными щитами, с киосками и театральными афишами; с улицами, забитыми автомобилями, конными повозками, телегами и омнибусами; с многочисленными деревьями, парками и лужайками, с плывущими по великой судоходной реке пароходами, яхтами, баржами и плотами — таким был мой Киев, основанный скандинавами для защиты своего важнейшего торгового пути. Не провинциальный город, но столица Древней Руси, он знал себе цену. Когда-то,

---

<sup>1</sup> Ахав (873-852 до н. э.) — седьмой царь Израиля, сын царя Амврия.

много веков назад, его окружала крепостная стена из темных камней и некрашеного дерева. Мать городов русских. Русский Рим. Неверные приходили и отступали, или переходили в нашу веру, или заключали перемирия, возможно, временные, — а Киев всегда оставался. Тогда он был Киевом Желтокаменным, теплым и гостеприимным для всех. В летнем солнечном свете казалось, что весь город сделан из золота, поскольку его кирпичи пылали, а мозаики, цветы и деревья сияли, как драгоценные камни. Зимой город превращался в белую сказку. Весной гул и треск льда на Днепре раздавался по всему городу. Осенью теплое сияние и цвет падающих листьев смешивались так, что город обретал тысячу оттенков нежного загара. К началу двадцатого столетия Киев достиг вершины своей красоты. Теперь, благодаря большевикам, он спрятался в тусклой раковине, став еще одним человеческим ульем с несколькими неприметными памятниками в угоду туристам. Немцев обвиняют в уничтожении Киева, но известно, что чекисты взорвали большую часть города при отступлении в 1941 году. Нынешние памятники — всего лишь копии. История Киева древнее истории большинства европейских городов, отсюда берет начало культура, сформировавшая славянскую цивилизацию. Здесь зародились наши величайшие эпические сказания. Кого, например, не потрясла киноверсия истории Ильи Муромца и героев Киева, защитников христианского мира от татарских орд, — «Богатырь и Чудовище»? Как ни странно, то, чего не добились татары, с успехом осуществили армии большевиков и нацистов, проявившие недюжинное упорство, сочетавшееся с полным отсутствием воображения.

Мы были бедны, но нас со всех сторон окружали богатство и красота. Наш пригород, Куренёвка<sup>1</sup>, считался захудалым, хотя выглядел он по-деревенски живописно; деревянные дома с садиками соседствовали с новыми, построенными на французский манер, с внутренними двориками. При желании я мог прогуляться до центра города или сесть на трамвай номер десять, который шел мимо Кирилловской церкви на Подол; а если меня не при-

---

<sup>1</sup> *Куренёвка* — район Киева, известный с XVII века. Прилегающий к Бабьему Яру, этот район стал известен после катастрофы 1961 года, когда сточные воды прорвали дамбы и затопили его. Погибло около 1500 человек.

влекали виды и запахи еврейского квартала, поднимался по холму к Андреевской церкви, бело-голубой снаружи и золотой внутри, и смотрел оттуда на далекий Днепр, на Труханов остров, где располагался яхт-клуб. Туманными осенними вечерами я любил прохаживаться по широкому бульвару Крещатика, где росли каштаны и работали магазины и рестораны. Но лучше всего Крещатик выглядел на Рождество, когда горели фонари, а снег сваливали у стен и желобов, прокладывая дивные тропинки от двери к двери. Я помню ароматы хвои и льда, печенья и кофе и тот особый запах свежесрубленного дерева и краски — так пахли рождественские игрушки. Такси и тройки мчались в золотистой тьме; дыхание лошадей было белее снега, теплые грохочущие трамваи сияли ярким электрическим светом.

Но это лишь призрак. Того Киева больше нет. Большевики уничтожили все, удирая от нацистов, лишь несколькими месяцами ранее помогавших им грабить Польшу.

В детстве я предпочитал действовать, а не наблюдать. Меня считают интеллектуалом, но по натуре я скорее человек дела. Своим образованием я всецело обязан матери. Она настаивала, чтобы я учился лучше своих сверстников. К счастью, ее окружало множество друзей, вероятно претендовавших на ее руку и сердце, — матушка была красивой жизнерадостной женщиной. Эти люди могли посоветовать лучшие школы и предметы, которыми мне следовало заниматься. К нам постоянно приходили гости, причем не только русские. Зачастую их собиралось много. Нередко у нас появлялся капитан Браун, шотландский инженер, джентльмен, живший в стесненных обстоятельствах. Он занимал комнату этажом выше. По слухам, он дезертировал из индийской армии. Конечно, он много знал о северо-западной границе, Афганистане и о Кавказе, где провел несколько лет (откуда и пошли слухи о дезертирстве). Я не помню, чтобы он хоть раз повторился, рассказывая свои истории. Их было много: о казахах, туркменах, таджиках и киргизах, о Кабуле и Самарканде, о строительстве железных дорог в Грузии. Капитан был невысоким, смуглым человеком, всегда приветливым, но при этом сдержанно-агрессивным. С матерью он вел себя очень заботливо и нежно, словно опасаясь своей собственной силы. Он не только начал учить меня



английскому, но и подарил подшивку журнала «Пирсон»<sup>1</sup>, который я перечитывал в течение всех своих детских и юношеских лет; он разжег мое воображение, а впоследствии и честолюбие. Я очень любил капитана Брауна еще и потому, что матушка находила интересным его общество. Она ходила с ним в оперу и в театр гораздо чаще, чем с другими поклонниками.

Куренёвка в те годы была одним из самых космополитичных районов. Моя мать нравилась клиентам, по большей части холостякам или слугам состоятельных людей, то ли от скуки, то ли от одиночества проводившим много времени в прачечной. Некоторых из них она допускала в свою контору — крошечную комнату на первом этаже прачечной. Мать угощала их чаем и, возможно, кексом с тмином. Иногда там появлялся и капитан Браун, но наиболее частыми посетителями были мелкие чиновники, в том числе Глеб Альфредович Кориленко, местный почтальон, высокий, тонкий, печальный, похожий на заплутавшего аиста. Раньше он служил на Черноморском флоте, пока не стал инвалидом, пострадав от рук коварных японцев в 1904-м. Глеб Альфредович был в курсе свежих сплетен, и мать с ее немногочисленными подругами внимательно слушала его, хотя я подозреваю, что и почтальона, и некоторых других посетителей поощряли лишь потому, что их рассказы могли быть полезны для моего образования. Иногда мне разрешали послушать истории о местных богачах, которые рассказывал Кориленко. Я замирал в углу с куском пирога в одной руке и стаканом чая в другой, исследуя мир почти столь же романтический, как и тот, о котором слышал от капитана Брауна. Я помню запах чая, лимона, пирога и тяжелой смеси мыла, щелочка, крахмала и красок. Помню горячий влажный пар, от которого листы газет и журналов сворачивались, а стулья, скатерти и коврики были всегда немного сырыми.

Почтальон иногда посещал и нашу квартиру, вместе с парой женщин и, случалось, с капитаном Брауном. Они приносили бутылку водки и обсуждали сплетни из Москвы и Санкт-Петербурга,

---

<sup>1</sup> «*Pearson's magazine*» — популярный английский литературный журнал, выходивший в 1896–1939 годах, специализировавшийся на художественной литературе и политических дискуссиях. На его страницах публиковались работы Бернарда Шоу, Эптона Синклера, Герберта Уэллса и многих других.

а также скандальные слухи о Распутине и царице, не забывая выказывать должное почтение. В то время Распутин был знаменит — странствующий монах, месмерист, мастер по части подмешивания наркотиков в напитки, он втерся в санкт-петербургское общество, вел исключительно безнравственную жизнь, даже совратил младшую из царских дочерей. После пары стаканов водки Кориленко обычно начинал ругать двор, который, по его словам, вырождался. Он полагал, что нужны более сильные мужчины, чтобы управлять женщинами, что царь Николай слишком снисходителен. Но мать всегда заставляла его умолкнуть. Она избегала любых разговоров о политике, подобные темы ее нервировали по очевидным причинам. Вероятно, именно поэтому я до сих пор не переношу бессмысленных политических споров. Я никогда не судил о людях, основываясь на том, за кого они голосуют, — до тех пор, пока они не пытались навязать мне свой выбор. Но, разумеется, только дурак согласится перейти в рабство социализма. В своей жизни я встречал разных людей. Их политические убеждения очень редко соответствовали их действиям.

В это время я гораздо чаще общался со взрослыми, чем со своими ровесниками. Мне всегда трудно давалось общение с другими детьми. Возможно, с тех пор, как я попал в общество взрослых, мир детей стал казаться унылым. Да и дети меня недолго любили, потому что я участвовал в разговорах старших, и моим завистливым потенциальным друзьям казалось, что я не по годам развит.

Рядом жила одна маленькая девочка, которая восхищалась мной, — Эсме, дочь соседа, джентльмена, который когда-то, думаю, был одним из поклонников моей матери. Мать подозревала, что он анархист, сбежавший из Сибири и живущий под фиктивным именем, поэтому отвергла его. Матушка ни в чем не была уверена, но жизнь научила ее осторожности. И нельзя винить ее за это. Фамилия джентльмена была Лукьянов. Он служил в кавалерии (походка выдавала в нем бывшего наездника) и жил на пенсию. Кориленко сказал нам, что жена Лукьянова сбежала от него в Одессе с английским капитаном, бросив дочь, которой тогда не исполнилось и года. Лукьянов редко выходил на улицу. Чаще мы видели его белье, которое приносила в прачечную Эсме. Она восхищалась мной, что очень льстило. Мать не одобряла нашей дружбы;

она могла принять за провокатора даже лошадь с красной лентой на хвосте. Эсме, прелестное белокурое создание, вела домашнее хозяйство и таким образом подобно мне была приобщена к миру взрослых. Мы, вероятно, выглядели очень забавно, обсуждая тревоги и заботы мира, когда я провожал Эсме до дома из прачечной.

Мне нравилось общество Эсме, но я не испытывал к ней никаких романтических чувств. Мое сердце принадлежало черноокой девочке, торговавшей подержанными оловянными игрушками с лотка на углу возле трамвайной остановки. Иногда она носила клетку, в которой сидела ученая канарейка, клювом указывавшая на буквы и знаки, предсказывая тем самым будущее. Девочка была настоящей цыганкой, из табора, расположившегося в одном из оврагов. Однажды пасмурным осенним днем я осмелился приблизиться к табору. Он оказался совсем не таким, как я ожидал. Я не увидел расписных кибиток, только скопище лачуг и телег и костры, темный дым от которых поднимался высоко в небеса. Это место не было раем, который я себе воображал, оно больше напоминало ад. Увиденное до некоторой степени охладило мой пыл, и я больше не собирался тотчас жениться на своей возлюбленной согласно обычаям ее народа (с цыганским бароном, разумеется, во главе стола), но покупал с ее лотка столько игрушек, сколько мог себе позволить. Ее канарейка всегда предсказывала мне удачу. Я узнал, что девочку звали Зоя. У нее были красные губы и вьющиеся черные волосы, а манеры, вопреки обстоятельствам, завораживали. Думаю, ее родители были румынами. Поведение Зои решительно отличалось от пассивной женственности моей подруги Эсме. Юная цыганка не обладала ни скромностью, ни спокойствием. Она говорила на диалекте, который напоминал мягкое южноукраинское наречие, многих слов я просто не понимал, «а» и «о» всегда путались и сливались в один звук. Зоя вела себя по-мальчишески развязно. Я думал, что она считала меня привлекательным. Возможно, дело было в ее глазах, казалось, с сексуальным интересом смотревших на все живое. Моя мать сочла ее еще более сомнительной знакомой, чем Эсме. Когда я предложил пригласить Зою к нам домой на чашку чая, с матерью случился сильнейший истерический припадок. После этого Эсме больше не считалась персоной нон грата.

Однажды Зои не оказалось на обычном месте, и я отправился к оврагу, чтобы отыскать ее. Табор исчез. Все, что от него осталось, — только груды мусора, которые цыгане оставляют после себя по всему миру. Я узнал от прохожего, что власти прогнали их прочь. Он предположил, что они отправились по дороге на Фастов<sup>1</sup>, а оттуда по побережью в Крым. Этот человек обрадовался, когда увидел, что цыгане уходят. У него пропало несколько цыплят с тех пор, как они разбили здесь лагерь. Я почувствовал тогда, что лишился чего-то большего, чем просто дешевого источника немецких игрушек.

Надежда привела меня на Бессарабку, как будто я рассчитывал отыскать Зою среди шарманщиков, нищих и торговцев экзотической живностью, среди ярмарочного шума и гама. Я почти верил, что увижу телеги, в которых везут глиняные печи и самоварные трубы. Здесь стояли несколько продавцов игрушек с лотками. Все они были очень старыми, длиннородыми, неискренне усмехавшимися. Также я повстречал ремесленников, чинивших горшки и ботинки, но моя цыганка уехала до первого снега и направилась в солнечные края. Я купил себе в качестве утешения балабуху<sup>2</sup>, знаменитое киевское лакомство, и пошел домой. Я надеялся еще когда-нибудь увидеть Зою.

В течение следующей весны и лета мы с Эсме не раз ходили гулять в Кирилловский лес<sup>3</sup>, находившийся неподалеку. Отчетливее всего я помню буераки и аромат сирени, в кустах которой мы спрятались во время летнего дождя, на вершине оврага, глядя сверху на другой цыганский табор. Дождь все лил и лил. Оранжевое пламя и черный дым от костров взлетали в полутьму. В конце концов мы промокли достаточно, чтобы набраться храбрости и попросить убежища. Я повел Эсме вниз по скользкому склону, все ближе и ближе к пестрой толпе бродяг, которые сначала не замечали нас, а потом приветствовали с необычайной предупредительностью, интересуясь, не желаем ли мы купить игрушку или амулет на удачу. Поскольку эти сомнительные сделки соверша-

<sup>1</sup> *Фастов* — город в Киевской области, в 64 км к юго-западу от Киева.

<sup>2</sup> *Балабуха* — сухое варенье и разные лакомства с ним производства династии кондитеров Балабух. Их «цеха варенья» располагались в центре Киева.

<sup>3</sup> *Кирилловский лес* — лес возле Кирилловской церкви в Дорогожичах, одного из древнейших храмов Киевской Руси.

лись еще более сомнительными руками, мы лишь качали головами и, как только дождь прекратился, снова поднялись наверх. Мы вернулись на следующее утро, все еще очарованные нашим открытием, а потом Эсме стала одержима мыслью, что нас похитят; она сбежала, оставив меня наедине с сомнительными предложениями, хитрыми усмешками и вкрадчивыми голосами цыган. Это собрание разогнали полицейские несколько дней спустя; я полагаю, основной причиной действий властей стал донос моей матери. Мне запретили впредь ходить к цыганам.

Некоторое время спустя после этого инцидента нас с Эсме определили в превосходную местную школу, которой самоотверженно управляла немецкая чета по фамилии Лустгартен. То, что нас зачислили одновременно, было, как я узнал от расстроенной матери, просто неудачным совпадением. Я понял, что кто-то из родственников помогал оплачивать мои занятия, но так никогда и не узнал, кто именно. Возможно, это мой дядя Семён, или Сеня, как мы его называли.

Строгий и щедрый, не расстававшийся со своей ротанговой тростью, герр Лустгартен оказался превосходным наставником. Наибольшей радостью для него было обнаружить ученика, в котором удавалось разжечь подлинную жажду знаний. Очень высокий, сероглазый, со впалыми щеками, он носил строгий сюртук с высоким воротником. Его черные ботинки всегда были отполированы до зеркального блеска. Так и вижу, как его руки и ноги извиваются, точно стяги на ветру, а трость взлетает вверх, когда он разъясняет какую-нибудь алгебраическую задачу. Я оказался одним из его любимых учеников. Обнаружилось, что я наделен от природы способностями к языкам и математике. Я овладел практическими навыками немецкого и французского, выучил чешский, на котором Лустгартены, прожившие несколько лет в Праге, говорили превосходно; а с помощью матери я освоил польский язык. Знанием английского я в основном обязан капитану Брауну, который продолжал поощрять меня во всех моих занятиях. Подобно многим сверстникам, по-украински я знал лишь несколько слов. Моим родным языком был русский. Мания национализма тогда еще не овладела Украиной. Кто-то недавно предположил, что, когда красные запретили украинцам погромы, те нашли

альтернативу — национализм. Что же, я не любитель евреев, но и не националист. Герр Лустгартен, как и многие немцы его поколения, был отчасти филосемитом. Матушку могли бы потрясти до глубины души его рассуждения о русском характере. Я почти дословно могу вспомнить его излюбленное высказывание о том, что русские похожи на американцев. Они лишены представлений об этике, у них есть только благочестие. Их церковь, при поддержке чиновников и военных, дарует им формулу жизни. Вот почему в поисках этических идеалов они обращаются к романистам, к которым относятся с таким уважением. Вот почему юноши и девушки подражают персонажам Толстого и Достоевского. Эти писатели — не просто сочинители, они наставники, отшельники, подобно моравским братьям Германии и Богемии, Лютеру или Джону Уэсли, квакерам. У русских людей нет моральных принципов, за исключением одного простейшего: служить Царю и Богу.

Я запомнил слова герра Лустгартена, потому что в некотором отношении они оказались пророческими. Думаю, русские снова начали осознавать растущую угрозу жидомасонского заговора. Я слышал, что армия печатает брошюры, предупреждающие солдат об опасностях международного сионизма. Что касается «желтой угрозы», то большинству славян об этом уже хорошо известно. Великое учение, которое так и не смог понять профессор Лустгартен, — это теория панславизма<sup>1</sup>, распространенная на Украине, в центре и исходной точке крупнейшего славянского государства в мире. Потенциально именно здесь — основа единого славянского государства, включающего Польшу, Литву, Чехословакию, Болгарию, Югославию, даже часть Греции. Такое государство могло бы спасти основы западной культуры, сопротивляясь упадочным влияниям Америки и варварству новой татарской империи Мао. Мелкие навязчивые идеи германского богословия — не для нас. Нас интересует наша собственная судьба. Украинский национализм существенно отличается от панславизма, поэтому он никогда не был мне близок. Я родился в Российской

---

<sup>1</sup> *Панславизм* — культурное и политическое течение среди славянских народов, в основе которого лежат идеи об этнической и языковой общности славян, необходимости их политического объединения. Возникло в Чехии в 1820 годах.

империи, и мое самое сильное желание — умереть там же, хотя, боюсь, пройдет гораздо больше времени, прежде чем русские люди окончательно вернуться к своему древнему наследию.

Исторические воззрения герра Лустгартена не всегда совпадали с моими, но я превосходно отвечал на его уроках. Он это оценил и начал заниматься со мной дополнительно по вечерам. Учитель уверял меня, что, при должном прилежании, я смогу добиться успеха на академическом поприще. Матушка была счастлива, а я радовался, что могу хоть как-то вознаградить ее за принесенные жертвы. Она говорила, что умственные способности у меня от отца, но моральные ценности — ее заслуга. Я решил не тратить впустую свои интеллектуальные силы, как истратил их мой отец. Мать занялась шитьем, чтобы платить за дополнительное обучение, и с одиннадцати лет (в тот год в Киеве убили Столыпина) я учился математике и естествознанию у герра Лустгартена, а также языкам и литературе у фрау Лустгартен. Эта замечательная леди являла полную противоположность мужу: она была настолько тихой, апатичной, низенькой и толстой, насколько ее муж — шумным, подвижным, высоким и худощавым. Фрау Лустгартен познакомила меня с книгами, которые произвели на меня сильнейшее впечатление. Гриммельсгаузен, Диккенс, Гёте, Гюго и Верн к тринадцати годам стали моими любимыми писателями. Я также читал подшивки «Пирсона», подаренные мне капитаном Брауном. Всего их было двадцать восемь. Мне жаль, что ни одной не сохранилось, они, наверное, стоили бы сейчас целое состояние, но пропали вместе со многими другими вещами во время Гражданской войны, после установления власти Ленина. У них были одинаковые переплеты с золотым, синим и темно-зеленым тиснением на корешках. Я прочитал в них каждое слово по меньшей мере дважды. Здесь были рассказы Герберта Уэллса, Катклиффа Хайна, Макса Пембертона, Гая Бутби, Конан Дойла, Генри Райдера Хаггарда, Рафаэля Сабатини и Роберта Барра<sup>1</sup> — эти имена

---

<sup>1</sup> Перечисляются самые популярные авторы фантастических и приключенческих романов, которые печатались в «Пирсоне»: Герберт Джордж Уэллс (1866–1946), Ч. Джон Катклифф Хайн (1866–1944), Макс Пембертон (1863–1950), Гай Бутби (1867–1905), Артур Конан Дойл (1859–1930), Генри Райдер Хаггард (1856–1925), Рафаэль Сабатини (1875–1950), Роберт Барр (1849–1912).

сегодня почти никто не слышал. Фильмы, радио и телевидение полностью уничтожили грамотность. Социалисты дошли до предела — народ опустился до уровня мужиков. В мое время все стремились к совершенствованию. Сейчас даже представители так называемых образованных классов испытывают лишь одно желание — казаться тупыми и неграмотными.

К 1913-му году моя жизнь сводилась исключительно к работе и чтению. Я видел Эсме только по дороге в школу (девочки занимались отдельно от мальчиков), и мы редко говорили о чем-то помимо учебы. Ее отец захворал, и она все реже посещала занятия, потому что ухаживала за ним. Эсме была ангелом. За исключением этой дружбы, я не заводил знакомств и оставался одиноким ребенком. Все это, вкупе с моей тягой к знаниям, вызывало неприязнь у большинства других мальчиков; я терпел самые ужасные оскорбления, обычно не отвечая на них. На некоторое время у меня появился друг. Его звали Юра, он был примерно моего возраста и происходил из очень бедной семьи. Он часто приходил и сидел возле нашей печи, в то время как я занимался по вечерам. Я помогал ему с уроками. Мать обрадовалась тому, что у меня появился приятель. Но потом пропало несколько украшений, и взять их мог только Юра. На следующий день я обвинил его в воровстве. Он откровенно признался. Я спросил, почему он украл у нас, у людей, которые были добры к нему, — и получил отвратительный ответ.

— Потому что вы жида, — сказал он. — Жиды — законная добыча. Так все говорят.

Страдая от того, что меня так опорочили, я пожаловался герру Лустгартену, который не проявил ко мне сочувствия; его отношение я почему-то никак не мог определить.

— Я сын казака, — сказал я ему и его жене. — Пойдемте ко мне домой, и я вам это докажу.

Герр Лустгартен привел Юру к нам домой, чтобы, по его словам, вор мог лично отдать украденные вещи; не все, но то, что удалось отыскать, передали в руки моей матери. Под угрозой трости герра Лустгартена Юра извинился, хотя было очевидно, что он считал себя жертвой. Я достал раскрашенную вручную фотографию отца в *shapka* и казачьей форме. Если и требовалось доказательство



чистоты отцовской крови, то этого было достаточно. Я показал портрет Юре. Его ответ довел мою мать до слез:

— Это ж просто картинка. Все знают, что ты еврейский ублюдок. Что она доказывает-то?

Я вырвал трость из тонкой руки учителя и обрушил ее на голову Юры. Я никогда не испытывал такой ярости. И на сей раз, вновь неожиданно, герр Лустгартен оказался на моей стороне. Юра угрожал, упоминая черносотенцев (патриотов, которые пытались справиться с коварными происками еврейских сил), и сдался лишь тогда, когда герр Лустгартен сказал, что выгонит его из школы и сообщит причину родителям. Это положило конец нашей дружбе. Юра сколотил банду, причем не только из детей бедняков, и начал всячески изводить меня. Они преследовали меня от школы до самого дома, предлагали «честную драку», а когда я отказывался, просто гнались за мной, обзывая «раввинчиком» и «иерусалимским полковником» — в тогдашнем Киеве эти клички были не просто неприятной клеветой, при определенных условиях они могли стать смертным приговором. Тем не менее подобные оскорбления в годы моего детства звучали достаточно часто, и им не придавали особого значения — все равно что обозвать жидом человека, не имевшего ни капли семитской крови. Однако именно эти нападки раздражали меня сильнее прочих, таких как «учительский любимчик», «подхалим», «ябеда» или даже «дебил». Из-за них я и швырялся камнями и участвовал в кулачных драках.

Эта городская шушера, многие представители которой были иностранцами по происхождению, вероятно, ревновала к моему древнему неотъемлемому праву казака. Мой отец — атеист с нелепыми «прогрессивными» идеями — не только сделал мою мать бедной вдовой, он также бесцеремонно распорядился и моим детским телом; как объясняла мать, по гигиеническим причинам. Таким образом, будучи абсолютным гоем, я получил еврейское клеймо. Я не знал тогда, в какой смертельной опасности окажусь много лет спустя из-за этой отцовской прихоти. Он мог с тем же успехом попытаться перерезать мне горло в младенчестве. Сейчас в подобных операциях нет ничего необыкновенного, но на Украине в 1900-х это было все равно что принять иудаизм. Евреев удивляет негодование украинцев. Здесь, впрочем, нет ничего

странного. Заняв земли польских дворян, евреи много лет эксплуатировали наших помещиков и крестьян. Когда казаки изгнали шляхтичей, они также отомстили и ростовщикам, их прислужникам. И евреи защищали поляков с мушкетами и мечами в руках. Я не собираюсь оправдывать жестокость и дикость. Но евреи не так безупречны, как изображают себя в наши дни. Если бы я был одним из них — принял бы причины украинской ненависти. Это могло бы всех примирить. Но евреи слишком горды для этого.

Да, моя мать могла во многом винить моего отца, но говорила об этом очень редко. Она вспоминала о нем с уважением и грустью (исключая упоминания о его атеизме) и требовала чтить его имя. Увы, я не был способен на это даже ради нее. Как я заметил, он оставил меня на дороге жизни в таком невыгодном положении, что можно только удивляться, как я оказался сегодня здесь. От него мне достались лишь интеллектуальные способности, которые не раз спасали меня от смерти или пыток; но воображение и чувствительность я унаследовал от матери, как она сама говорила. Бунт отца против великого казачьего наследия, против русской религии и культуры принес ему лишь страх и гибель. А тем, кого он покинул, — только горе. Чего добились победившая революция? Только смерти. Только унижений. Как мы не раз говорили: «Лучше быть евреем в царском Минске, чем православным в советской Москве». И разве это — прогресс?

Возможно, я унаследовал от отца еще одно свойство: веру в будущее, которая исказила его восприятие реальности, заменила религию, а в моем случае обернулась верой исключительно в научный прогресс. Верн и Уэллс, а также статьи и рассказы из «Пирсона» пробудили во мне восторг перед чудесами науки и техники. Еще до моего знакомства с этими произведениями я решил стать инженером. К этому меня побуждала благородная любовь к самой науке. Я не смешивал свои благородные чувства с псевдорациональными рассуждениями, подобно какому-нибудь нервному средневековому монаху, который оправдывал свой интерес к алхимии, уверяя, что это дело Божье. Я испытывал ненависть ко всем формам казенного благочестия. Я считал себя одним из тех, кто может воплотить славянский дух в науке и поставить научное знание на службу славянской душе. Вводя посторонние темы

в свои истории, Верн, анархист, и Уэллс, социалист, сильно вредили и себе, и читателям, искажая их восприятие, которое приспособлялось к усвоению далеких от науки материалов; примерно так же Распутин искажал религию, позволяя себе тем самым разные сексуальные извращения. Мы жили в эпоху, когда чистые помыслы и откровенные слова были в большом дефиците. Даже Джек Лондон, который с таким глубоким чувством повествовал о природе и благородстве дикого Севера, предал свой дар, сочиняя пессимистические и полемические рассказы. Он был вынужден делать это, иначе никто не относился бы к нему всерьез. Он утратил бы престиж среди так называемых либералов, которые довели наш мир до нынешнего жалкого состояния. Все беспокоятся о хорошей репутации, но иногда цена, которую мы платим за нее, слишком высока.

Как ни странно, желание стать инженером зародилось у меня гораздо раньше, чем я достаточно овладел английским языком и смог читать рассказы в «Пирсоне». Однажды мы с Эсме куда-то шли по центру Киева, возможно, на Крещатик, и наткнулись на большой магазин на углу, возле театра. Я помню еще один из тех старых киосков с куполообразной крышей, скопированной у французов, и общественный писсуар, также на французский манер. Большинство инженеров, с которыми я познакомился позднее, испытывали потрясение после первой поездки на поезде, при первом знакомстве с автомобилями или монопланами. В моем случае все было иначе — я увидел обычный английский велосипед. Как и во многих киевских магазинах того времени, окна не использовались для демонстрации товаров, но мы смогли заглянуть внутрь и увидеть велосипед, стоявший на особом возвышении. Эсме, казалось, разделила мой интерес к этому механизму (хотя, возможно, она просто хотела меня порадовать) и начала рассуждать, как мы могли бы купить его или как владелец магазина подарил бы его нам за некую значительную услугу. Было солнечное весеннее утро. На каштанах распускались первые почки. Позади нас проезжали по широкой мощеной улице пролетки, телеги, фургоны и автомобили. Начался не просто новый год — началась новая эра. В магазине также продавались граммофоны, пианолы, механические органы, гитары и балалайки, но велосипед казался

местным аристократом. Красивый черный агрегат (мужской велосипед Райли «Принц Альберт»<sup>1</sup>, ныне давно исчезнувший) сверкал на солнце, лучи которого касались красных и золотых рычагов и полированных стальных деталей. Он был мне не по карману. Этот велосипед стоил гораздо дороже более доступных немецких и французских моделей. Я не помню, чтобы представлял себе, как велосипед станет моим. Я даже не думал о том, чтобы попасть в магазин, изображая покупателя, осмотреть или потрогать механизм; мне даже не хотелось на нем прокатиться. Эсме попыталась заставить меня войти внутрь и даже предложила составить компанию, но я отказался. Меня впечатлил не сам механизм, а то, что за ним стояло. Он воплощал собой все величайшие изобретения последних столетий. За ним были воздушные корабли и самолеты; электрические поезда, паровые турбины, моторные автобусы, трамваи, телефоны, беспроводное радио; там же были стальные мосты, небоскребы и механические комбайны. Вот так отвлеченная математика воплотилась в реальность. Я изучал тормоза, цепи, спицы, гайки и стальной каркас. Меня покорила божественная простота механической системы, которая при обычном давлении на педали заставляла двигаться цепное колесо, которое затем передавало свое движение заднему колесу, чтобы с минимальными затратами помочь человеку перемещаться быстрее и дальше, чем способно любое другое живое существо. За пределами этой идеи — откровения, если пожелаете, — меня ничто не интересовало. Конечно, почти все научные изобретения тех времен служили пользе человечества, но для меня их прелесть состояла в самом факте существования. Они работали. Они воплощали решение проблем. Орудия Круппа и динамит Нобеля пробуждали во мне те же эстетические чувства, что гидростанции или санитарные «мерседесы». Меня вдохновляли механизмы, а не их применение. Поршни и цилиндры, цепи и схемы нравились мне, пока они исполняли свои задачи: двигали корабли, поднимали самолеты ввысь, отправляли сообщения. Мне казалось, что не стоит углубляться в метафизические или социологические рас-

---

<sup>1</sup> Фирма Уильяма Райли занималась производством велосипедов с 1890 до 1910 года.

суждения об их применении. Когда началась война и мы услышали о британских танках, я не выразил ни малейшего неодобрения. Я уже ожидал их. Они стали видением, воплощенным в реальность при помощи стальных листов, резины и двигателей внутреннего сгорания. Я также восторгался бомбардировщиками Сикорского, «Большой Бертой» и огромными цеппелинами<sup>1</sup>, атаковавшими Париж и Лондон, и уже начал обдумывать собственные идеи, которые, будь я на пару лет старше, могли бы изменить не только ход войны, но и всю мировую историю. Но мне не хотелось бы слишком преувеличивать свою роль в истории, в конце концов, я ее жертва, а не победитель; если бы я пытался доказать обратное, меня приняли бы за старого дурака. Я не намерен подтверждать мнение мужланов, считающих меня всего лишь смешным дряхлым беглецом из России, владеющим лавкой подержанного тряпья на Портобелло-роуд.

Что ж, меня вполне устраивает это — пусть люди думают что хотят. Они тем более удивятся, когда прочитают эту книгу и увидят, чего я достиг. Вот мое маленькое торжество — знать, что крестьяне и бездельники, отребье с трех континентов, видят меня, не осознавая, кто я на самом деле. Есть несколько человек, которые относятся ко мне с уважением, им я и открываю свои тайны. Но я сейчас не хочу известности. Почестей будет великое множество после моей смерти. Я уже насмотрелся на политиков — хватит на несколько жизней. Мое сердце вряд ли выдержит ту публичность, которую я мог бы получить. Признаю, маленькая пенсия, орден Британской империи, возможно, рыцарство помогли бы мне на склоне лет, потому что я остался один. Только госпожа Корнелиус поддерживала меня. Я переехал в этот район, чтобы быть поближе к ней. Я мог бы перебраться в Эрлс Корт, получить работу в правительстве. Но я пока не стану говорить о госпоже Корнелиус. Лучше вы сначала узнаете, что за человек пишет об

---

<sup>1</sup> И. И. Сикорский (1889–1972) разработал четырехмоторный деревянный биплан «Илья Муромец» в 1912 году. Во время Первой мировой войны была создана эскадра бомбардировщиков «Илья Муромец». «Большая Берта» — немецкая 420-миллиметровая мортира, разработанная в 1904 году; строились «берты» на заводах Крупна с 1914 года. *Цеппелины* — дирижабли жесткой системы, которые строились графом Цеппелином в 1899–1938 годах.

этой замечательной личности, получившей заслуженную известность, как и ее одаренные потомки. Здесь я скажу только одно: она никогда не предавала меня.

Я снова и снова приходил к магазину, в котором стоял одинокий английский велосипед, а потом случалось неизбежное — его продали. Я увидел этот велосипед однажды на мосту около зоологического сада и тотчас узнал. Но я не печалился, ведь остался образ.

Много лет спустя я прочел роман Герберта Уэллса «Колеса фортуны» и был разочарован. В книге обнаружили зачатки последующего литературного упадка писателя. Роман в целом оказался слишком легкомысленным и не содержал ни малейших следов мистического вдохновения, которое я обнаружил в «Войне миров», прочитанной в «Пирсоне». Его «Морская дева», напечатанная там же, оказалась столь же никчемной вещицей. Желание стать модными и забавными может овладеть даже лучшими из нас. Почему выходит так, что автор может быть полон оптимизма и веры в одной книге и глуп и циничен — в другой? Изучение сочинений Фрейда — который, как я узнал, был злобным, ненавидящим людей венским евреем, пренебрежительно обходившимся со всеми, кого он причислял к низшим классам, — помогло мне найти объяснение этой загадки. Не то чтобы я уважал так называемых психологов, особенно тех, которые относились к отвратительной венской школе. Если спросите меня, то узнаете: многие из них в зрелые годы находились на грани окончательного помешательства. Во время моей единственной встречи с Гербертом Уэллсом я спросил его, почему он потратил впустую так много времени на свои ненаучные романы; он ответил, что когда-то считал себя способным достичь тех же целей с помощью комедии. Его ответ меня очень огорчил. Приходится предположить, что он смеялся надо мной, или был пьян, или испытывал, как случается со многими художниками, приступ временного слабоумия. Также возможно, что он просто ослышался, хотя мой английский язык превосходит, что подтверждает это повествование.

Впрочем, у меня поначалу возникали некоторые трудности — иногда собеседники не понимали меня. Разговорный английский я изучил с помощью госпожи Корнелиус. Мои попытки приме-

нить его для непринужденного общения не всегда были успешными. В первый год моей жизни в Англии я нередко попадал впросак благодаря своей подруге. Мне гораздо лучше удавалось общаться, как случилось в двадцатые, используя английский язык «Пирсона», который по крайней мере все легко понимали. Мое дружеское и восторженное приветствие «Как поживаешь, старый пидор?», адресованное мистеру, а позднее лорду, Уинстону Черчиллю на встрече с польскими эмигрантами, было принято отнюдь не так хорошо, как я ожидал, и я так и не смог поблагодарить мистера Черчилля за горячую поддержку, оказанную им по делу законных правителей России.

Теперь я понимаю, что у англичан есть нечто общее с японцами, которым не нравится, когда иностранцы слишком хорошо владеют их языком. В Японии, как мне рассказывали, люди, знающие японский в совершенстве, должны изображать сильный акцент, чтобы их принимали в обществе. Как и все жители Востока, наши японские друзья с исключительным вниманием относятся к правилам этикета, которые иностранцам нелегко усвоить. Как явствует из моего опыта, это заметно, пусть и в меньшей степени, во всех странах. Я по своей природе невероятно дипломатичен, но иногда мое поведение истолковывали превратно из-за того, что я неподобающе свободно владел языком.

Чувство такта у меня от природы, и его поощряла моя мать, страдающая от позора, навлеченного на нас деятельностью отца. Когда в Киеве начались волнения, к нам не раз приходили полицейские. В основном они были доброжелательными, веселыми офицерами, просто исполнявшими свои обязанности. Даже расследуя серьезные преступления, они вели себя достойнее, чем фанатики в кожаных тужурках из ленинской ЧК. В самом деле, полицейские являлись настоящими представителями царской власти, доброжелательными, заботливыми, немного сдержанными. Они полагали, что наши молодые люди увлекались романтическими идеями прежде всего французского, немецкого и американского происхождения. Я вспоминаю такую историю: встретив Керенского после первой революции, царь сердечно заметил: «Этот человек любит Россию. Мне очень жаль, что я не познакомился с ним раньше, поскольку он мог быть полезен». Подобное

великодушные, куда большее, чем я сумел бы изобразить в подобной ситуации, было типично для человека и для системы, которую критиковали со всех сторон. Когда действительно требовались активные действия, они совершались решительно и без злобы. Каждой атаке казаков предшествовали тысячи противозаконных выступлений. Провинившихся юношей из хороших семей редко казнили за преступления, их отправляли в изгнание, зачастую оставляли на попечение родственников, чтобы немного остудить горячую кровь. Только самые настырные и порочные революционеры-пролетарии получали длительные тюремные сроки или приговаривались к высшей мере наказания. Мать это понимала, она сознала, что полицейские делают свою работу. Когда они звонили в дверь, их всегда радушно принимали и приглашали к столу — поесть пирогов и выпить чаю из нашего самовара. Я помню большие сине-золотые мундиры, висевшие у печи. Мое впечатление от этих мужчин не имело ничего общего с ужасом. Я восхищался их роскошной форменной одеждой, ухоженными бородами и усами.

Помню, как однажды порадовал наших гостей, сообщив им совершенно серьезно, что, если бы мне не было суждено стать великим инженером, я хотел бы стать полицейским или солдатом на царской службе. Свершилось так, что оба моих желания необычайным образом исполнились, хотя и здесь меня поджидали неудачи и недоразумения. Матушка была горда мной и удостоилась комплиментов от офицеров. Один из них, видимо знавший моего отца, заметил, что я значительно разумнее своего родителя. Мать улыбнулась, но я видел, что ее это покорило. Она не принимала критики в адрес отца, даже если та звучала в ее пользу и в пользу ее единственного сына. Полицейские покинули нас в хорошем настроении, очевидно помимо чая хлебнув еще и водки, и мать, тяжело вздохнув и странно посмотрев на меня, велела продолжать ужин, прерванный неожиданным визитом. Она прислонилась к печи, на которой я обычно спал зимой. У нее перехватило дыхание, как будто ее облили ледяной водой. Будучи сильной женщиной, мать очень скоро пришла в себя, но оставалась рассеянной до конца вечера. Позднее выяснилось, что мой отец был не единственным красным в семействе. Брат матери



оказался вторым. Насколько я знаю, он никогда не попадал под суд. Ходили слухи, что он жил в Женеве. Матушка никогда не получала от него писем.

Газет и брошюр радикального содержания в доме никогда не хранили. У нас под запретом находились даже самые умеренные националистические издания. Мать была настолько осторожна, что осматривала бумагу, в которую заворачивали мясо или рыбу, — нет ли там пропаганды мятежников. Она однажды развернула большой сверток, чтобы выбросить из него листок «Киевской мысли»<sup>1</sup>, — лишь бы не нести его домой. Матушка страдала от нервных припадков, и в этом я также виню ее мужа.

У нее случались кошмары, у женщины, которую мне приходится называть Елизаветой Филипповной (это имя я позаимствовал у одной из соседок, которые были добры к нам; а по-настоящему ее звали так же, как знаменитую княгиню). Часто я просыпался посреди ночи, слыша лихорадочный шепот, доносившийся с ее кушетки. Я смотрел вверх высокой спинки кровати и видел, как мать поднимается, подобно трупу на Страшном суде. Потом она кричала, издавая длинный, жалобный звук. Иногда выкрикивала: «Прости меня!» Потом молилась во сне или заламывала руки и тихо плакала, распущенные черные волосы вздымались вокруг ее бледного лица, как демонический нимб. Я знал, что мне следовало проявлять больше сочувствия, но слишком боялся. Казалось, матушка чувствовала себя виноватой (возможно, потому, что не была рядом с отцом в момент его смерти), но был ли этот грех подлинным или выдуманным — мне не известно. Она часто засыпала, даже не понимая, что произошло, но иногда я будил ее, если мне казалось, что ей грозит опасность. Через некоторое время я привык к этим кошмарам и, поскольку очень много занимался, зачастую спал, не замечая их. Способность засыпать в самых неподходящих обстоятельствах стала для меня и преимуществом, и недостатком. Кошмары моей матери чаще всего случались осенью и зимой. Именно из-за них я больше не приглашал Эсме к нам, когда ее отца забирали в больницу; мать не позволяла мне

---

<sup>1</sup> «Киевская мысль» — ежедневная газета либерального направления; издавалась в 1906–1918 годах.

ходить домой к революционеру, но капитан Браун заботился о моей подруге, когда мог. Он стал все чаще напиваться, и матери приходилось выпроваживать его, потому что сосед был слишком пьян. Впрочем, он никогда не выходил за рамки приличий.

У матери появились и другие причины для беспокойства, связанные с нашими одесскими родственниками, — многие из них имели неприятности с законом по разным мелким поводам, позоря тем самым семью. За исключением дяди Сени, все они были двоюродными или троюродными братьями матери. Время от времени они приезжали в Киев, изредка останавливаясь у нас, к ее превеликой тревоге. Мы всегда получали какие-то вещи в качестве платы за гостеприимство: душистое мыло, импортные консервы или французское вино. Мать старалась по возможности продать эти подарки, случалось, что даже раздавала их, лишь бы не держать в доме. Я думаю, что молодые люди из Одессы занимались контрабандой. Они, конечно, казались более состоятельными по сравнению с бедными киевскими родственниками. Дядя Сеня был преуспевающим посредником по морским перевозкам, куда более представительным и богатым, чем сомнительные фарцовщики, так цинично пользовавшиеся кровным родством, но он утверждал, что не в состоянии контролировать своих подручных. Именно к дяде Сене, полагаю, моя мать чаще всего и обращалась, когда требовалась помощь с оплатой счетов за обучение.

Помимо литературы, языков и математики я изучал географию и основные научные теории. Полноценное образование лежало за пределами возможностей доброжелательного немца. Я очень много читал и особенно увлекся американской книгой, доставшейся от одного из моих одесских кузенов, — в ней описывались современные методы строительства летающих машин. В то время можно было не только научиться летать самостоятельно, без инструкторов и лицензий, но и построить свой собственный летательный аппарат. В книге обнаружилось множество подробных чертежей, а также рукописных указаний, которые показали бы совершенной загадкой всякому, кто не *au fait*<sup>1</sup> с современными летающим машинами: оптимальный угол падения, центр тяжести, центр

---

<sup>1</sup> Знаком, в курсе дел (*фр.*).

сноса, вращающий момент пропеллера и так далее. Сверяясь с ней, я мог построить весь самолет, за исключением двигателя, самостоятельно — от сооружения каркаса до пропитки холста. Эта книга тоже пала жертвой революции и Гражданской войны.

К тому времени, когда мне минуло тринадцать с половиной лет, герр Лустгартен решил, что больше ничему не способен меня научить. Полагаю, я превзошел его ученостью. Незадолго до войны Киевский политехнический институт, где, по логике, я должен был продолжить свое обучение, стал рассадником радикализма. Мать отказалась отправлять меня туда, несмотря на заверения, что я хочу только учиться. Я бы никогда не заразился нигилистическими чувствами молодых людей, которые вместо того, чтобы познать мир, собирались изменить его и заставить принять их невежество. Институтская система квот была слишком либеральной. Встал вопрос о документах, удостоверяющих личность. Мой покойный отец вновь препятствовал моей карьере. Я полагал, что достаточно будет просто подать заявление, но мать посчитала, что прежде мне следует подготовиться к устным вступительным экзаменам. Это решение приняли после заключительной беседы с герром Лустгартеном, который предостерег мать, что приемная комиссия сочтет меня «больно умным». Увы, в этом мире у человека с мозгами нет никаких преимуществ. Чтобы не терять времени, наконец договорились, что я начну зубрить по вечерам, готовясь к вступительным экзаменам в институт, а в течение дня стану приобретать то, что герр Лустгартен называл «практическим опытом». Меня отправили на работу к Саркису Михайловичу Куюмджану.

Так звали знаменитого местного механика, которого я поначалу глубоко презирал. Куюмджан был обрусевшим армянином, родившимся в Батуми, и христианином. Он служил инженером на корабле, а потом повстречал в Одессе украинскую девушку и в конечном счете обосновался в Киеве, работая сначала на компанию речного судоходства, позже — на трамвайную компанию и, наконец, на себя. Этот человек мог справиться с любыми механизмами — от электрических генераторов, паровых двигателей, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания до оборудования, принадлежавшего мелким предприятиям, процветавшим тогда

в Киеве. Его основными клиентами являлись евреи с Подола, владевшие жуткими грязными заводиками. Услуги Куюмджана стоили дешево, а сам он был всегда весел. Я полагаю, что англичане назвали бы его словом «bodger», лататель. Ему платили не за обслуживание новых машин, а за поддержание в рабочем состоянии старых с минимальными затратами. Он жил в нескольких кварталах к востоку от нас, за Кирилловской, в ветхом деревянном домишке, заваленном обломками механизмов и различных изобретений, которые он начинал, но никак не мог закончить. Он не прислушивался к моим советам, которые уже тогда были исключительно разумными. Ему недоставало воображения, которое необходимо великому инженеру. Саркис Михайлович рассказал мне, что он последний в роду. Вся его родня, мужчины, женщины и дети, оказались среди тех ста пятидесяти тысяч армян, которых турки согнали в пустыню на верную смерть в самом начале столетия. В наше время все считают нацистов изобретателями современного геноцида, но они, возможно, многому научились у турок, которые решили армянский вопрос не так суетливо и с меньшими расходами. Мы на Украине научились бояться угрозы с Востока до того, как обнаружили себя воюющими с Западом.

Слово «турок» было самым грубым ругательством, которое я слышал от Саркиса Михайловича, но пробирало сильнее любой брани.

Мне не хотелось становиться учеником армянского кустаря-механика, пробавляющегося случайной работой, но мать настояла на том, что я должен узнать, как ведутся дела. Таким образом, в июне 1913-го я стал помощником Саркиса Михайловича Куюмджана, отправлялся с ним почти по каждому вызову, даже сам делал небольшой и простой ремонт, и впервые ознакомился с азами инженерного дела. Матушка оказалась права. Мне стала нравиться моя работа. То лето было чудесным. Даже гетто на Подоле раскрасилось зеленью и яркими цветами.

В одном отношении, однако, учиться у моего первого начальника было трудно. Он никогда не хвалил и никогда не ругал. На его маленьком смуглом лице всегда виднелась слабая улыбка, черные глаза лучились непонятым весельем, независимо от того, что творилось вокруг. Саркис Михайлович как будто жил в своем

собственном мире. Он был опрятен, работал споро и умело, на всем экономил, редко разговаривал с клиентами, но всегда внимательно слушал, а потом решительно брался за дело, чтобы поскорее устранить проблему, если это было возможно. В борьбе с механизмами он никогда не уклонялся от брошенного вызова — и обычно становился победителем, хоть на время. Независимо от того, оказывалась ли работа трудной или легкой, он брался за нее с одинаковой серьезностью — и с той же легкой улыбкой. Манеры и гримасы Куюмджана могли раздражать. Люди думали, что он выражает презрение или, по крайней мере, иронию. Зачастую разгневанные клиенты кричали на него и заявляли, что он может не браться за работу, если не желает. Мастер не обращал внимания на крики, раскладывал гаечные ключи, отвертки и прочие инструменты и делал свое дело. Потом вытирал руки, по-прежнему улыбаясь, давал мне знак собрать инструменты, мысленно подсчитывал стоимость работы и коротко называл цену, которая устраивала даже самых скупых клиентов. Саркис Михайлович знал, что его услуги стоят дешево; в отличие от всех других известных мне армян, он ненавидел торговаться.

Я быстро понял, что Куюмджан был чрезвычайно застенчив. Он оказался доброжелательным человеком, относился ко мне очень терпеливо. Общаясь с ним, я оценил положительные качества армян. Естественно, несмотря на все мои теоретические познания, я совершал немало ошибок на практике. Но никогда не слышал от мастера обидных слов и насмешек. Он мрачно показывал мне, как правильно сделать ту или иную вещь, — и этим ограничивался.

С его помощью я изучил все рабочие районы Киева, хотя трудились мы в основном на Подоле. Украина тогда переживала настоящий бум. Она оставалась самой развитой частью империи в сельскохозяйственном отношении, но теперь началось и промышленное развитие, угольные шахты и железные рудники снабжали заводы Юзовки, Харькова, где строили огромные локомотивы, и Екатеринослава<sup>1</sup>, а также других городов, которые вырос-

---

<sup>1</sup> Юзовка, Екатеринослав — прежние названия соответственно Донецка и Днепропетровска.

тали вокруг новых шахт и заводов. Следует заметить, что я был не единственным молодым украинцем, которого вдохновили чудеса современной техники. Сикорский, изобретатель вертолета, родился в Киеве и провел свои первые эксперименты за пару лет до моих опытов. В отличие от него я не имел преимуществ, которые давало богатое и влиятельное семейство. Нас были тысячи, и мы стали первым поколением, увидевшим и постигшим будущее и в последующие годы давшим России и миру множество великих инженеров.

Нас, украинских казаков, кто-то назвал «русскими шотландцами», и в этом отношении, как и в других, сравнение вполне уместно. Киев, однако, ни в коем случае нельзя было назвать развитым промышленным городом. Здесь занимались в основном торговлей и банковским делом. В детские годы я ни разу не видел больших заводов и фабрик. Как правило, в поле моего зрения попадали маленькие машиностроительные мастерские, текстильные фабрики и другие, им подобные, обычно состоящие всего из одного-двух навесов. Но ни в каком другом городе я не смог бы работать с таким человеком, как Саркис Михайлович, который не специализировался на чем-то одном. В итоге я стал разбираться в автомобильных двигателях, паровых насосах, динамо-машинах, механических ткацких станках. Это всестороннее обучение сослужило мне хорошую службу в будущем, но, с другой стороны, поставило меня в несколько невыгодное положение — кое-кто считал меня одним из тех, кто за все берется, но ничего не способен сделать.

Работа у армянина пробудила мое воображение и изобретательность. В это время я начал должным образом развивать собственные идеи, основанные на том, что вычитал в «Пирсоне» и прочих журналах. Мне казалось, что я смогу построить одноместную летающую машину без обычного фюзеляжа, использующую возможности человеческого тела. Центр тяжести будет определяться положением двигателя, а не позицией пилота. В то время как Сикорский работал над все более и более крупными самолетами типа «Илья Муромец»<sup>1</sup>, я мечтал о своеобразной ле-

---

<sup>1</sup> Самолеты «Илья Муромец» модернизировались в 1915–1918 годах с уменьшением конструкции, крупные истребители Сикорского С-ХVII, С-ХVIII не были удачными и существовали лишь в опытных экземплярах.

тающей пехоте. Каждого человека можно было бы снабдить крыльями и двигателем. Крылья пристегнуть к рукам пилота, двигатель на станине прикрепить к его спине, чтобы обеспечить вращение пропеллера. Хвостовое оперение и руль присоединить к ногам летчика.

Я изложил свой план Эсме, которая к тому времени целыми днями ухаживала за больным отцом; ее это впечатлило. Она захотела знать, когда увидит первых людей, летающих над куполами собора Святой Софии. Я пообещал ей, что это случится скоро; полечу я, а она станет свидетельницей моего самого первого полета.

Дав обещание, я решился сдержать его. Я не хотел выставлять себя дураком в глазах Эсме. Она стала прекрасной юной девушкой, с длинными, восхитительными золотистыми волосами, огромными синими глазами, бледной кожей и сильным, полным телом, типичным для украинских женщин. И все-таки я по-прежнему видел в ней лишь давнюю близкую подругу, хотя сексуальные желания уже одолевали меня. Самое сильное возбуждение я испытывал, гуляя ночью по Крещатику и разглядывая дорогих шлюх, прохаживающихся туда-сюда по бульвару. А еще я мог зайти днем в кондитерскую Кирхейма, знаменитую своим кофе и пирожными с кремом, и смотреть на молодых красоток, которые появлялись там в сопровождении матерей. Немало темноглазых юных особ бросали на меня страстные взгляды, но все же не было ни одной, способной сравниться с моей замечательной, утраченной Зоей. Тоска по ней все еще увлекала туда, где когда-то стоял цыганский табор; но цыгане там больше не появлялись.

С тех пор как у меня зародилась мысль о летающем человеке, подобные проекты уже не раз воплощались в жизнь, но тогда принципы соотношения силы и веса были еще не вполне ясны. Кроме того, двигатель, который я собирался использовать, не совсем подходил для моей цели. Я пообещал Эсме, что совершу свой первый полет в следующее воскресенье. Я ничего не сказал своему начальнику, который только посмеялся бы, о моем будущем изобретении; однако единственный двигатель, доступный мне в то время, находился в его цехе. Вполне надежный маленький бензиновый двигатель, он использовался в моторном трехколесном

транспортном средстве, принадлежавшем одной из самых крупных пекарен Подола. Двигатель был в превосходном рабочем состоянии; его просто сняли, чтобы Куюмджан мог слегка отрегулировать цепи и заднее колесо. Мелкий ремонт. Конечно, теперь я понимаю, что не стоило заимствовать двигатель, особенно принадлежащий таким серьезным клиентам, но обещание, данное Эсме, оставалось для меня важнее всего остального.

Когда в субботу вечером Саркис Михайлович, по обыкновению, оставил меня запирать мастерскую, я взял маленькую тележку и отправился за прочим оборудованием. Я соорудил раму, которая должна была поместиться у меня на спине и обеспечить достаточное пространство для движения пропеллера. Это устройство мне удалось совместить с зубчатой передачей на моторе. Я испытывал сильнейшее волнение, заканчивая подгонку механизма. Потом прикрепил к деревянной раме, укрытой плотным холстом, крылья и две части хвостового оперения, которые присоединялись к моим ногам. Я не сомневался, что, сжимая лодыжки, смогу управлять этими деталями как хвостовой частью планера. Я проверил двигатель и с удовлетворением обнаружил, что винт вращается как следует. Минула полночь, так что я отложил дальнейшие приготовления до утра и возвратился домой. Мать сильно волновалась, представляла, что меня убили. Ее беспокойство вызвало то, что совсем неподалеку от нашего дома и в самом деле убили ребенка. Это было ритуальное убийство, устроенное бандой фанатиков-сионистов, и я не верю, что удалось поймать истинных убийц — евреев. Тело спрятали в пещере в долине; его обнаружение, насколько я могу припомнить, привело к жестокому погрому. Я очень сожалел о той боли, что причинил моей бедной матери своими выходками, но она никогда не могла понять: жертвы приходится приносить не только тем, кто посвятил себя науке, но и их близким.

Рано утром в воскресенье я встретил Эсме и отвел ее в мастерскую. Там она помогла мне погрузить все оборудование на тележку, и мы покатали ее к Бабьему Яру, достаточно широкому и потому лучше всего подходившему для моего эксперимента. Мне пришлось несколько раз заверить Эсме, что полет будет совершенно безопасным. Конечно, небольшой риск все-таки существо-



вал, потому что предстояло лишь первое испытание, но я не ожидал серьезных проблем. С помощью Эсме я нацепил на себя раму, привязал крылья и встал на вершине склона, на тропинке, которая вела к маленькому выступу и скамейке, где обычно сидели влюбленные пары. Я планировал пробежать по тропинке, пока не достигну выступа, а потом взлететь над оврагом, по дну которого протекала речушка. Утро было прекрасным. Эсме надела белое платье с красным передником. Я нацепил свою самую старую одежду. Над ущельем поднимался туман, сквозь него сияли лучи солнца. Небо над нами было абсолютно синим, лишь дым от неутомимых заводов Подола поднимался вдалеке над сверкающими куполами и шпилями церквей. Вокруг стояла абсолютная тишина. Когда я объяснял Эсме, как завести пропеллер, со всех сторон раздался воскресный колокольный перезвон. Я начал свой первый полет под благовест сотен колоколов!

Помню, как рев двигателя заглушил все колокола. Потом я сорвался с места и побежал, ускоряя шаг, вниз по тропинке. Эсме поначалу следовала за мной, но потом отстала. Я достиг уступа, раскинул руки, поднял ноги — и начал падать...

Падение продолжалось пару секунд. Несколько движений руками — и я снова набрал высоту. Я поднимался все выше и выше над ущельем, пока не смог разглядеть весь Киев, увидеть, как Днепр течет по степным просторам, мчится к запорожским быстринам, приближаясь к океану. Я мог разглядеть леса, деревни и холмы. И, планируя вниз, я увидел Эсме в красно-белом наряде, глядящую на меня с удивлением и восхищением. Ее лицо отвлекло меня. Каким-то образом я потерял управление. Двигатель заглох. Раздался свист рассекаемого воздуха, затем крик. А потом снова зазвонили колокола, а я беспомощно падал под их перезвон — прямо к реке в нижней части ущелья. Прежде чем мое тело ударилось о воду, я подумал о том, что по крайней мере умру благородной смертью. Второй Икар!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

**Н**овость о моем полете появилась во всех киевских газетах. Я парил над городом в течение нескольких минут. Свидетелями эксперимента стали люди, которые шли в церковь воскресным утром. До тех пор, пока большевики не завоевали Украину, мое достижение имело документальное подтверждение: я спикировал и совершил пируэт в ясном небе; меня видели над Святым Андреем, Святой Софией и Святым Михаилом<sup>1</sup>. Я помню рисунок в одной из газет, где меня изобразили взгромоздившимся на зеленый центральный купол церкви Трех Святых. Но свидетельства моего подвига были уничтожены вследствие безумного желания ЧК, упростив прошлое, упростить настоящее, так удивлявшее чекистов и противоречившее их чрезмерно рациональному кредо. Если бы я оказался коммунистом, членом союза революционной молодежи или кем-то вроде того, все сложилось бы совершенно иначе. Но у меня было слишком много недостатков.

Какие-то солдаты видели, как я упал, и вытащили меня из реки. Я ненадолго очнулся (пропеллер рухнул вперед и оглушил меня, когда я свалился в воду), услышав, как один из солдат, смеясь, сказал: «Еврейчик пытался взлететь!»

Прежде чем снова потерять сознание, я произнес: «Я не еврей. И я точно взлетел». Думаю, это было странным совпадением: великое множество еврейских душ вознеслось к Небесам из это-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Андреевская церковь, Софийский собор и Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве.

го самого ущелья, в котором немцы во время Второй мировой войны создали печально известный концлагерь. Здесь, впрочем, стоит отметить, что не только евреи погибли в Бабьем Яре: солдаты и гражданские славянского происхождения также умирали здесь тысячами. Но, как обычно, о других жертвах забыли, а удел мучеников достался евреям. Они умеют поведать о своих страданиях.

Эсме, скатившись вниз по склону холма и порвав платье, обнаружила, что солдаты вытаскивают меня из воды. Она сказала им, где я живу, и меня отнесли к матери, которая немедленно упала в обморок и была приведена в чувство уже несколькими выпившим капитаном Брауном, который незадолго до этого отправился меня искать.

Впрочем, мне повезло в одном: двигатель остался неповрежденным, и через пару часов Саркис Михайлович привел его в порядок. Я разбил голову, сломал руку и лодыжку, но ликовал. Я взлетел! Я смог! Мне не терпелось провести новый эксперимент как можно скорее, хотя в следующий раз я решил нанять кого-нибудь помладше и полегче меня — и научить его летать. В таком случае я мог бы увидеть, каковы будут последствия, если что-то пойдет не так.

В первые дни, когда Эсме приходила в больницу, я, желая лишний раз удостовериться, снова и снова расспрашивал о своем полете. Я обезумел, не мог доверять собственной памяти. Эсме горячо уверяла, что мне первому удалось взлететь в воздух с мотором, но без корпуса летательного аппарата. Мои достижения подтверждались ее словами и газетными новостями, которые появились снова много лет спустя в британском журнале «Ревейл» и в американской газете под названием «Нэшионал Инквейрер»<sup>1</sup>. Мне очень жаль, что не сохранилось российских публикаций, они пропали вместе с остальными вещами. Даже тогда не все поверили мне. Лишь через несколько недель я узнал, что Саркис Михайлович, обеспокоенный тем, что я позаимствовал мотор, решил в дальнейшем отказаться от моих услуг, отчасти, я полагаю, для

---

<sup>1</sup> «Ревейл» («Reveille») — популярный во второй половине XX века британский таблоид; «Нэшионал Инквейрер» («National Enquirer») — американский таблоид, издающийся с 1926 года.

того, чтобы успокоить владельца пекарни. Моя мать ничего об этом не говорила, пока я не выздоровел. Пригласили герра Лустгартена, чтобы не прерывать моих занятий; мать проводила большую часть свободного времени за сочинением длинных писем родственникам, в том числе и очень дальним, по поводу моего образования. Ее самоотверженность была безгранична, и, когда дело коснулось моего благополучия, ничто не могло ее остановить.

Эсме разрешали навещать меня, и я делился с ней планами усовершенствования механизма «человека-птицы». Говоря о тех, кто с сомнением относился к моим достижениям, я упоминал о солдатах, утверждавших, что я просто упал в ущелье. Она возмущалась: «Конечно, ты летал! Конечно, ты это сделал! Ты облетел весь Киев!» Это было, разумеется, преувеличением, основанным на преданности, но Эсме славилась правдивостью, ее прозвали в округе «маленькой святой» за то, как она заботилась об отце.

Когда Эсме не было рядом, а это случалось часто, я удовлетворялся чтением книг на разных языках и совершенствованием своей «летающей пехоты». Я отправлял в Министерство обороны письма, в которых излагал суть своего опыта, но ответа не получил. Весьма вероятно, что какой-то ревнивый бюрократ, возможно, сам Сикорский, позаботился о том, чтобы они никогда не попали в нужные руки. Я также разработал новую модель телеграфа и решил проблему связи между Бердянском и Еникале на Азовском море с использованием плавучих понтонов. Это только два из множества моих проектов, утраченных в годы Гражданской войны, но они значительно опередили свое время. Я очень сожалею, что не запатентовал ни одного из своих изобретений. Я был слишком доверчив. Слова чести и рукопожатия вполне хватало для порядочных людей в годы моего детства, а к тому времени, когда я достиг зрелости, этим начали пользоваться абсолютные мерзавцы. Будь я менее легковерным, уже давно стал бы миллионером, мне хватило бы одного только прожектора ультрафиолетовых лучей.

Находясь в госпитале, я разработал жизненный план на немецкий манер: составил график на следующие несколько лет, обозначив все свои цели. Среди них были образование, работа

в правительстве, наем агентов для поиска Зои, дом, который я намеревался приобрести для матери, где о ней могли бы заботиться Эсме и капитан Браун, которым я смогу платить хорошее жалованье. И тогда не находилось никаких причин считать этот план нереалистичным.

Революционеры и фанатики вновь сговорились помешать моему счастью, когда в августе 1914 года я достаточно оправился от увечий, чтобы сдать вступительные экзамены в техническое училище. На сей раз убийство в Сараево — «выстрел, который облетел весь мир» — привело к чудовищному армагеддону, Первой Великой войне. Мать поведала неутешительные новости: герр и фрау Лустгартен сбежали из страны, очевидно, в Богемию, опасаясь антигерманских настроений, с которыми уже столкнулись многие люди с немецкими именами и фамилиями, владевшие лавками в киевских предместьях. Так, оказавшись между армянами и немцами, я разом лишился и наставника, и работодателя.

Теперь только родственники могли спасти меня. Некоторые из тех, кому написала моя мать, включая моих бабушку и дедушку по отцу, которых я никогда не видел, и дядю Сеню, ответили к осени. Наверное, именно тогда начались разговоры о том, чтобы получить образование в Санкт-Петербурге (это меня радовало, поскольку там находились лучшие технические училища), но дядя Сеня хотел, чтобы сначала я навестил его в Одессе; все расходы он брал на себя. Дядя никогда не говорил мне прямо, почему хотел со мной увидеться. Я предполагал, что он собирался посмотреть на объект своих инвестиций. Мать сочла интерес дяди Сени ко мне подозрительным. Она не слишком любила его. Теперь мне кажется, что он возлагал на меня большие надежды, потому что его сыновья не интересовались наукой. Ни один из моих кузенов не отличался особенной грамотностью. Я думаю, что это разочаровывало дядю, но напрасно. Его дети были готовы к жизни в будущей России. По крайней мере двое из них стали влиятельными комиссарами во время страшного голода двадцатых и тридцатых годов. Большевики считали грубую силу, хитрость и слепое повиновение намного более ценными качествами, чем образованность. Я не слишком интересовался причиной, по которой дядя Сеня согласился с матерью относительно моей дальнейшей судь-

бы. Того, что он собирался оплатить мне и образование, и каникулы, оказалось вполне достаточно. Следующие несколько месяцев представлялись по-настоящему восхитительными. Если я уже потряс Киев, чего мне стоило поразить ленивых жителей южного, свободного от предрассудков города или пресыщенных столичных граждан?

Все три недели до моего отъезда мать непрерывно плакала. Она снова и снова упаковывала мои немногочисленные пожитки, заставляла клясться, что я не свяжусь с радикалами, что не стану подражать поведению и речи одесситов. Она вынудила меня пообещать, что я не буду якшаться с «бандитами с Молдаванки»<sup>1</sup> (читатели комиссара-журналиста Бабеля знают, о ком идет речь). Она плакала, напоминая о судьбе отца. Плакала, наказывая, чтобы я менял нижнее белье. Она была самой замечательной, заботливой матерью, какую только мог пожелать мальчик. Я теперь сожалею, что не слушался ее так, как следовало бы. Моя зажившая голова была полна мечтаний о будущих деяниях. В ночь накануне моего отъезда из Киева Эсме пришла к нам и принесла медаль Святого Христофора<sup>2</sup>, которую ее отец привез из каких-то чужих краев. Она со всей подобающей серьезностью повесила медаль мне на шею, обняла меня, расцеловала в щеки и заплакала. После ее ухода мать осмотрела медаль, подозревая, что эта вещь могла быть как-то связана с мятежом. Затем с большой неохотой, немного всплакнув, вернула ее мне. Я считал эту медаль символом утешения и носил в течение долгого времени; она напоминала, что у меня есть по крайней мере один верный друг.

Вскоре после ухода Эсме явился мой кузен Александр. Он предпочитал, чтобы его звали Шурой, и был хитрым и дерзким молодым человеком, коротко стригся и носил на шее красно-белый шарф по моде того времени. Он оставил у нас свои вещи, отказался от предложенного матерью завтрака, снисходительно выпил полстакана чая у нашего старого самовара, а потом отправился в город по делам. Кузен вернулся с коробкой шокола-

---

<sup>1</sup> *Молдаванка* — предместье Одессы, прославленное в «Одесских рассказах» Исаака Бабеля.

<sup>2</sup> *Святой Христофор* — мученик, почитаемый и католиками, и православными, живший в III–IV веках, покровитель путешественников.

да и каким-то грузом в мешке, который немедленно уложил в свой багаж, к превеликому беспокойству моей матери. Изрядно выпив водки (даже в дни «сухого закона» немногие обращали внимание на суровые запреты), Шура встал у печи, грея руки и подмигивая мне.

Моя бедная мать едва не лишилась чувств; она поспешила проводить кузена в другую комнату, где тому предстояло переночевать. Матушку можно было понять: он казался не самым подходящим спутником для ее сына, впервые покидавшего семейный очаг. Однако Шура не сразу уснул. В темноте, в последний раз лежа на своей кровати, я слышал, как он напевал какие-то загадочно-непристойные песни с мягким, музыкальным одесским акцентом, в то время как мать выводила носом сложный контрапункт у себя на кушетке.

Матушка проводила нас на станцию. В сентябре 1914 года железнодорожное сообщение начало ухудшаться (хотя назначались дополнительные поезда в крупные города — такие, как Одесса), и приобрести билеты становилось все труднее. Тем не менее Шура энергично преодолел все формальности, провел нас через утренние скопища полицейских в форме, солдат и матросов — сквозь разноцветные мундиры и золотые галуны, мимо продавцов конфет, напитков, карт и скандальных журналов и газет. В те времена всю Россию заполонили лоточники — мужчины, женщины, дети. Продемонстрировав хорошее знание вокзала, его особых нравов и обитателей, Шура по крайней мере сумел успокоить мою мать. «Раз уж ты отправляешься в мир, лучше это делать в сопровождении кого-то практичного», — сказала она, когда он удалился на мгновение, чтобы переговорить с какой-то худощавой девицей; потом Шура вернулся — развязной походкой, держа в руке несколько длинных сигарет, одну из которых он предложил мне. Я, разумеется, отказался. Мать напомнила Шуре о вреде курения и предупредила, как расстроится дядя Сеня, если узнает, что его «маленького ученого» развратили. Шура все терпеливо выслушал, явно сочувствуя нам обоим, а затем объявил, что поезд прибыл и нам следует занимать места.

Мать последовала за нами, мешая мне восхищаться чудесами железнодорожного состава: кухней, топкой и всем прочим. Это

был один из самых лучших экспрессов Юго-Западной железной дороги. Его тянул поразительной красоты локомотив (вероятно, 4-6-4, хотя я уже не могу теперь вспомнить модель), цвета которого — темно-зеленый, золотой и кремовый — повторялись на всех вагонах. Этот длинный поезд, экспресс Киев—Одесса, преодолевший весь путь меньше чем за четырнадцать часов, состоял только из вагонов первого и второго класса, третьего класса в нем не было. Даже пар локомотива казался белее, чище и солиднее, чем пар других поездов.

На дальних платформах я видел несколько военных составов с тяжелой артиллерией на плоских платформах; это, вместе с большим количеством вооруженных людей на самом вокзале, напоминало о том, что страна находилась в состоянии войны. Я снова ощутил давнее желание надеть форму. Я сказал Шуру, что ему следует с нетерпением ждать призыва на военную службу. Единственным ответом стал выпущенный мне в лицо дым папиросы; потом кузен, подмигнув, снова предложил мне закурить. Матушка разрыдалась при мысли о войне, и Шура попытался утешить ее — терпеливо и слегка презрительно.

Каким-то невероятным способом он нашел для нас места в купе и оставил меня наедине с матерью. Воротник моего нового пальто промок от ее слез прежде, чем проводник доброжелательно сказал, что пора выходить. Кузен крикнул, что нечего бояться: если машинист собьется с пути, Шура сумеет отыскать верную дорогу. Это вызвало смех у других пассажиров в вагоне; мать всхлипнула еще пару раз и вышла на платформу, вытирая глаза и нервно улыбаясь. Я занял свое место. Мы с Шурой выделялись среди пассажиров, поскольку были моложе и не носили форму. Большинство наших попутчиков оказались солдатами, матросами и санитарями; они улыбались нам с тем особенным самодовольством, с которым люди, носящие форму, смотрят на тех, кто ее не носит.

Это было первое долгое путешествие на поезде, которое мне хорошо запомнилось (сохранились очень туманные воспоминания о нашей поездке из Царицына в Киев). Путешествие длилось целый день, с половины девятого утра до поздней ночи, но мне бы хотелось, чтобы оно продолжалось вечно. Поезд уносил меня в новый, романтический мир, мир Руритании Хоупа, поэзии Пушкина



и книги Грина «Шапка-невидимка»<sup>1</sup>, с ее историями об экзотических портах и дивных сапфировых морях. Я был готов всю дорогу просидеть на месте, но Шура заставил меня подняться, едва поезд покинул станцию и мать, которая ковыляла, размахивая промокшим носовым платком, осталась позади. Шура хотел показать мне вагоны первого класса, так что мы совершили прогулку по поезду, разыгрывая невинность всякий раз, когда служащие спрашивали, что мы здесь делаем; мы отвечали, что потеряли свой вагон.

Я дивился роскоши первого класса, темно-зеленой плюшевой обивке, полированной меди и дубовым панелям. Шура сказал, что не раз путешествовал первым классом, но я не поверил. Он знал, по его словам, как вести себя по-джентльменски: «Когда-нибудь это станет частью моей работы».

Как мой кузен мог стать своим в этом мире бархата и роскоши? Я не представлял, чем он собирался заниматься, однако с одобрением отнесся к его амбициям. Эти чудесные вагоны напоминали ангельскую обитель и пахли, как ухоженные животные. И люди, находившиеся здесь, казались полубогами. Я полюбил их, жаждал разделить их жизнь, войти в их круг.

Мне следовало запомнить все радости путешествия в роскоши — неважно, насколько часто я буду испытывать их в дальнейшем. Я поднялся из глубочайшего мрака к вершинам невообразимого благополучия. Минуло еще несколько лет, прежде чем я всесторонне ознакомился с этой поразительной формой транспортного сообщения. Теперь она практически исчезла с лица земли. Сегодня ее заменили утилитарные детали из пластмассы и нейлона; холодные, безличные, эффективные государственные железные дороги и авиалинии. Не только прежние поезда умчались в бездну забвения. Большие корабли, властелины линий «Cunard» и «P&O»<sup>2</sup>, окончательно исчезли. Что мы получили

---

<sup>1</sup> *Руритания* — вымышленная страна в Центральной Европе, место действия романов Энтони Хоупа (1863–1933); «Шапка-невидимка» (1908) — первый сборник рассказов Александра Грина (1880–1932); на самом деле книга посвящена политическим увлечениям автора и его участию в анархическом движении.

<sup>2</sup> «Cunard Line» (ранее «Cunard Steamship Line Shipping Company») — британская компания, оператор трансатлантических и круизных маршрутов океанских лайнеров; «P&O Cruises» — аналогичная американская компания. В настоящее время объединились под вывеской «Carnival Corporation».

взамен? Паромные перевозки. Неудивительно, что все транспортные системы работают в убыток. Неужели люди в самом деле захотят путешествовать в чем-то, напоминающем грязную больничную палату? Как человек, который пользовался почти всеми средствами современного транспорта, от огромных довоенных лайнеров до преданных забвению цепелинов, я могу прямо сказать, что демократизация не принесла пользы никому, в том числе и народу. За исключением нескольких нелепых круизных кораблей, не осталось летательных аппаратов и роскошных пароходов, которые в прежние времена являлись подтверждением изречения о том, что путешествие приятнее прибытия.

Когда я в пабе с ностальгией вспоминаю о самолетах класса «С» Имперских авиалиний, надо мной просто смеются. Эти безграмотные полукровки, обитающие в безликих жилищах, возмущаются, слыша, как кто-нибудь вспоминает дни, когда слово «цивилизация» означало нечто большее, чем название бирж труда и муниципальных художественных галерей. Из их жизни исчезла романтика, которую они не разглядят, даже если ее преподнесут на тарелочке, как подносят все остальное. Они потешаются над прошлым, копируя лишь самые безвкусные, «очаровательные» элементы ушедшей жизни. Сенсации заменили им все. Эти люди демонстрируют свой цинизм, как их матери и отцы демонстрировали утонченность. Они смешны, подобно торговкам и унылым клеркам, заполонившим танцевальные залы в двадцатых и тридцатых годах, сопровождаемым презрительными взглядами представителей настоящего высшего общества. У них есть и еще кое-что общее: отсутствие малейшего уважения к старшим. Они лишены воображения, и все-таки заполняют огромные залы, чтобы посмотреть фильмы вроде «Убийства в „Восточном экспрессе“»<sup>1</sup>. Неужели они полагают, что им позволили бы даже просто ступить на подножку такого поезда? В свое время «бритоголовые» и «пижоны» знали свое место. В грязи! У них есть тот транспорт, которого они заслуживают:

---

<sup>1</sup> «Убийство в „Восточном экспрессе“» — роман Агаты Кристи вышел в свет в 1934 году, фильм Сиднея Люмета — в 1974-м.

скрытый в подземных глубинах, шумный, грязный и тесный, пригодный только для морлоков Герберта Уэллса<sup>1</sup>.

Когда мы вернулись на свои места, я сам себе казался разве что не принцем. Я чувствовал комфорт и безопасность во всем поезде. И, очевидно, многие из наших спутников ощущали то же самое. Все места в купе, разумеется, были заняты. Люди в форме заполнили коридоры. Казалось практически невозможным разглядеть за их спинами прекрасные пшеничные поля Украины; в это время мякина была отбита, сено уложено в стога, поскольку урожай уже собрали. Небо приобрело те дивные бледно-золотистые и серебристо-синие оттенки, которые иногда появляются в девять часов утра, в преддверии теплого осеннего дня. Две католических монахини, одна — двадцати с небольшим лет, другая — совсем юная, спросили, можно ли открыть окно, и все согласились, что было бы неплохо подышать свежим воздухом. Я предложил помощь, но не сумел разобраться, как действует запорный механизм. Шуре пришлось вмешаться, к великому моему смущению.

Воздух наполнился ароматом сельской местности, сладостным и густым, и мое настроение снова улучшилось. Помимо монахинь, занимавших места у окна, мы делили купе с двумя молодежь лейтенантами флота; есаулом в серой папахе и кафтане, с патронташем и широким поясом, за который был заткнут кинжал и к которому крепилась традиционная казачья шашка; джентльменом в темной фетровой шляпе и пальто с каракулевым воротником и греческим священником, который мало говорил по-русски, но улыбался нам, как будто благословляя. Есаул сидел рядом с Шурой, напротив меня. Подбородок его был чисто выбрит, но лицо украшали огромные вьющиеся седые усы с воцеленными концами. Он сидел, сжимая шашку коленями, спину держал очень прямо, не опираясь на сиденье, как будто ехал на невидимой лошади. Казаки часто ведут себя так, словно лошади постоянно рядом,

---

<sup>1</sup> *Морлоки* — человекоподобные существа-каннибалы, живущие под землей, описанные в фантастическом романе Герберта Уэллса «Машина времени»; представляют собой постчеловеческую расу, эволюционировавшую из промышленного пролетариата.

и я вообразил, по всей вероятности, ошибочно, что в грузовом вагоне в хвосте поезда путешествует каштановый жеребец.

Попросив отворить окно, монахини начали внимательно рассматривать друг друга, очевидно устанавливая телепатическую связь. Они не произнесли ни слова за всю поездку, и поэтому нам было очень неудобно приближаться к окну, чтобы купить что-то у торговцев на платформах во время остановок поезда. Этим торговцам не хватало лоска киевских лоточников, но они были очень шумными. Босые крестьянки предлагали нам пироги и парное молоко, а их дедушки возили самовары на тележках и хриплыми голосами расписывали чудесные целительные свойства своего чая. На станциях вертелось множество детей, из них мало кто торговал, в основном они просто попрошайничали. Монахини сидели, чуть приподняв ступни, их юбки полностью скрывали ноги. Мы старались избегать контакта с ними, все, кроме Шуры. Он, влетев в вагон после небольшой прогулки по платформе, пошатнулся и опустил руку на колено одной из монахинь, но тут же извинился. Позже, в коридоре, когда они не могли услышать, он пробормотал какую-то грубость — подивился их «невероятной вместительности». Я с трудом уяснил смысл сказанного, но морские офицеры, услышавшие его слова, от души повеселились. Я покраснел. Греческий священник, ничего не поняв, рассмеялся вместе с моряками, в то время как мужчина в пальто с каракулевым воротником что-то проворчал из-за страниц журнала «Нива».

Шура завел разговор с казаком, которому, казалось, он очень понравился. Есаул сказал, что служит интендантом и едет в Одессу для закупки провианта и снаряжения, ничего больше он сообщить нам не мог. Он удивился, когда я упомянул, что мой отец тоже был казаком. Шура рассмеялся, посоветовав мне поменьше болтать: «Такие заявления, — заметил он, бросив взгляд на есаула, — до добра не доведут». Офицеры возвращались из Москвы, где проводили отпуск, и непрерывно рассказывали о чудесах второго по величине города России. На эти чудеса они постоянно намекали Шуре — взглядами, жестами и шепотом. Кузен был ненамного старше меня, но казался куда более осведомленным и понимал все намеки, достаточно тонкие, чтобы не шокировать монахинь, прислушивавшихся к беседе очень внимательно.

Добродушный казак предложил всем водки, священник принял предложение, джентльмен в шляпе отказался, монахини как будто ничего не расслышали. Есаул сдвинул папаху набок и расстегнул кафтан, запахнув ворот расшитой черным и красным рубахи. На нем были синие галифе и мягкие кожаные сапоги; он выглядел свободнее и в то же время воинственнее остальных пассажиров поезда. По нашей просьбе он показал нам шашку, кинжал и пистолет, но не позволил прикасаться к оружию, сказав, что шашку следует доставать из ножен лишь для того, чтобы пролить кровь, но все же показал нам несколько сантиметров клинка, так что мы смогли разглядеть гравировку в виде мотылька (грузинскую, кажется) на рукояти. «Этот клинок, — сказал есаул, — такой острый, что мотылек, коснувшись его, будет разрублен пополам, прежде чем поймет, что случилось. Он все поймет, лишь попытавшись снова взлететь!»

Увиденное меня весьма впечатлило. Я сказал, что у моего отца, наверное, тоже имелся подобный клинок. Казак весело поинтересовался, к какой сечи он принадлежал. Я сказал, что к Запорожской. Он спросил, когда родился отец. Я ответил, что не знаю. Есаул уточнил, уверен ли я, что отец не был «москалем». Я его не понял. Он объяснил, что так казаки пренебрежительно называют великороссов. Слово приблизительно переводилось как «чужак». Я уверил его, что мой отец никогда не был чужаком. Он служил в казачьем полку в Санкт-Петербурге. Казак спросил, в каком именно. Я вновь ответил, что не знаю. Он рассмеялся, очевидно, довольный тем, что кто-то притязает на казачье происхождение, даже не имея на то оснований.

Я разволновался и начал настаивать, что говорю правду. Шура решительно заявил: «Поймите, его отец умер». После этого казак смягчился, коснулся рукой моего колена, протянул мне шашку и улыбнулся:

— Не переживай, малыш. Я тебе верю. Мы скоро будем скакать рядом, ты и я. И убивать евреев и немцев направо и налево, а?

Морские офицеры, веселый священник и мой кузен рассмеялись вместе с ним, и на душе потеплело. Путешествие на поезде осталось в моей памяти одним из самых светлых воспоминаний. Казака, кстати, звали капитан Бикадоров.

Шура спросил офицеров о ходе войны, о настроениях в Москве. Они сказали, что все уверены в победе, от царя до рабочих. Наши союзники предсказывали, что «российский паровой каток раздавит немцев за несколько недель». Танненберг<sup>1</sup> оказался случайной неудачей просто из-за нашей самонадеянности. Мы выучили свой урок в Японии, стали сильнее, чем когда-либо прежде, и будем разыгрывать нашу военную партию осторожней, но при этом намного разумнее.

— Особенно, — заметил один из них, — теперь, когда Япония стала нашей союзницей!

После этих слов джентльмен в фетровой шляпе снова что-то проворчал.

— А турки? — спросил я. — Когда их разобьют? Когда царь придет на службу в собор Святой Софии Константинопольской?

— Только дайте начать, а потом все пойдет как по маслу, — сказал капитан Бикадоров. — Хотя нет лучших врагов, чем эти ваши турки.

Было бы неплохо освободить Царьград (Константинополь), но во французах он был не уверен. Они сильно сдали после Наполеона. Их уже не раз поколачивали немцы. Кроме того, есаул сомневался, что англичане были надежными союзниками, «потому что они и сами — почитай что немцы». Но французов он считал действительно слабым звеном. Морские офицеры согласились, что французы, которых они встречали в Одессе, просто лягушатники, слабые и в то же время напыщенные.

— Французы не способны даже думать о смерти, — добавил старший. — В то мгновение, когда француз сталкивается с мыслью о ее неизбежности, как правило, еще в начале сражения, он сходит с ума. Они не трусы. Они просто невероятно самодовольны!

Джентльмен, читавший «Ниву», встал, поклонился морскому офицеру и сказал, что родился в Одессе и имеет честь носить французскую фамилию. Его дед был французом. Он снова сел, раскрыл свой журнал, а потом, будто поразмыслив, снова отложил

---

<sup>1</sup> *Битва при Танненберге* (26–30 августа 1914 года) — крупное сражение между российскими и германскими войсками во время Первой мировой войны, закончившееся поражением российских войск.

его и добавил: «Наполеона победили не солдаты, друзья мои, а снег. А за наш снег мы можем благодарить только Бога».

— А я возблагодарю Бога и за наших солдат, — сказал Шура.

При повторном упоминании о Боге священник молитвенно сложил руки, а монахини разом отвернулись к окну. Спросив их, не будут ли они возражать, если он закурит, есаул Бикадоров вытащил огромную трубку и начал набивать ее, в то время как Шура, по его примеру, предложил спутникам несколько папирос. Морские офицеры приняли предложение, старый джентльмен французского происхождения отказался, фыркнув, но вытащил сигару, как только все остальные закурили, и вскоре купе наполнилось табачным дымом. К счастью, окно было открыто, а значит, ни монахинь, ни меня самого это не слишком беспокоило. Теперь этот запах связан с давними приятными переживаниями. Я испытывал такой восторг, что позднее, когда мы насладились совместной трапезой, в которой приняли участие все, кроме монахинь и старого джентльмена, я впервые затянулся сигаретой. И тут же пожалел о съеденном — колбасе, хлебе, телятине, цыпленках, даже о чае, который мы купили на станции. Мой дискомфорт смешался с довольно приятным ощущением легкого головокружения. Я вышел на перрон на следующей станции. Думаю, это был Казатин, очень приятное место с ивовыми деревьями, резными фронтонами и колоннами. После настойчивых предложений Шуры я взял у него еще одну сигарету.

— Всегда садись на лошадь сразу после того, как с нее упал, — заметил он.

Под действием его обаяния и умения убеждать я впервые в жизни испытал радость греха. Мы помчались назад, вместе с остальными пассажирами, потому что поезд тронулся. Заняв свое место, Шура предложил мне глотнуть водки. Я подмигнул и согласился.

К вечеру я был немного пьян. Я следил, как красные и черные тучи проплывали на горизонте, на котором изредка вырисовывались шпили или купола, побеленные деревенские домики, стройные тополя и кипарисы на землях добрых помещиков, которых, возможно, описывал Толстой до того, как сошел с ума. Когда солнце село, есаул затянул печальную песню о девушке, лошади,

реке и саване. Он пытался заставить нас подпевать хором, но только Шура сумел запомнить слова:

Глаза мертвы, глядят из-под воды,  
И грива белая колышется от ветра.  
Уж скоро снег пойдет. Прощай, моя Катюша...

И так далее. Такова оборотная сторона характера казака. Если он не скачет на своем коне в бой и не рубит головы, он поет о смертной тоске и потере любимых. В этом глубоком, почти суеверном, почтении к религии и склонности к печальным песням у казака есть нечто общее с американским негром. Я должен поделиться этим наблюдением (оно прекрасно известно тем, кто меня знает), чтобы показать: у меня нет никаких расовых предрасположений. Понимание особенностей конкретного народа приводит к тому, что человек может преодолеть ненависть к нему. Я первый скажу, что питаю исключительное уважение к еврейскому уму. Никто не усомнится в нем, равно как и в способности смеяться над собой.

Мне показалось, что слегка похолодало, когда мы в конце концов достигли Одессы-Главной, центрального вокзала Одессы, расположенного в сердце города. Желтые газовые и масляные лампы, такие же яркие, как электрические фонари, освещали огромную территорию. Так мог бы выглядеть собор Микеланджело; здесь обнаружилось столько новых видов и запахов, что я немедленно почувствовал себя в два раза пьянее, чем был на самом деле. Шура продемонстрировал обычный энтузиазм, когда мы высаживались из поезда. Он дружески махнул на прощание рукой Бикадорову и офицерам, глубоко и серьезно поклонился монахиням, усмехаясь, кивнул старому джентльмену, а затем, на удивление быстро, провел меня сквозь толпу, мимо чиновников, контролеров, солдат, матросов, мелких торговцев, накрашенных дам, больших семейств, греков, хасидов, суровых англичан в хаки — наружу, прямо на улицу, залитую светом газовых фонарей.

— Разве нам не следует взять извозчика, Шура? — Я вспомнил наказ матери.

— Хочешь выбросить пятьдесят копеек на ветер? — ответил он. — В любом случае они все разъехались. Идем.



Ароматы специй и духов не могли заглушить еще один запах, приносимый южным ветром, — соли, сладковатого озона. Я с искренним восторгом понял, что это море.

Среди ночного мрака, подобно существу из океанских глубин, возник одесский трамвай с двумя вагонами из сверкающей меди. Поднявшись в вагон, Шура заплатил за проезд, мы сели на большие деревянные сиденья и уставились в окно.

— Ничего, кроме дерьма, ты ночью не увидишь, — сказал Шура. — Я покажу тебе завтра кое-что по-настоящему интересное.

Он взял билет до товарной станции. Я спросил, пересядем ли мы потом на другой трамвай.

— Только до угла Сиротской и Хуторской, — сообщил он.

Вероятно, это были большие проезжие улицы. Мне не хотелось, чтобы он еще что-то объяснял. Я наслаждался волшебством странного города и не желал знать о его границах. Я всегда ненавидел карты новых для меня городов, пользовался ими только в случае крайней необходимости.

Выбравшись из трамвая, мы двинулись по мощеной улице и дальше мимо парка, пересекли еще одну улицу и вышли на ярко освещенную площадь, окруженную большими жилыми домами, особняками и магазинами. У лестницы, ведущей в один из особняков, мы остановились. Возле дома располагалась контора, на вывеске которой была фамилия моего двоюродного деда. Мы достигли цели.

Шура поднялся по ступенькам и позвонил в звонок. Нам отворила невысокого роста горничная, которая продемонстрировала дружеское и непочтительное отношение к моему кузену. Мы вошли в хорошо обставленную комнату. Почти тотчас же появилась крупная темноглазая женщина в зеленом шелковом платье. Она взволнованно заговорила:

— Ты должен был позвонить, Шура! Мы послали бы извозчика или экипаж. Как вы сюда добрались?

— На трамвае, — прозвучал лаконичный ответ Шуры.

Женщина очень беспокоилась, но все-таки нашла в себе силы улыбнуться:

— Тебе нужно было подождать, чтобы дядя Сеня заказал...

— Мы бы так до сих пор и ждали в этой толпе, — ответил ей Шура. — Вы давно там бывали? Настоящее безумие творится из-за войны. Извозчики? Только если повезет.

Она пригладила его взъерошенные волосы.

— Сеня еще занят. Он бы хотел... Да, хорошо...

Я опустил свои сумки на ковер. Она раскрыла объятия.

— Максим! — последовал тяжелый вздох. — Я твоя тетя Женя.

Мы обнялись.

— Мы так рады! Как твоя дорогая мама?

— Все хорошо, спасибо, тетя Женя.

— Такое бремя. Какая отважная женщина! Но такая гордая! Что ж, гордость есть гордость.

Я принял похвалу, стараясь не обращать внимания на нападки в адрес матушки. Обдумывая минувшие события, я предположил, что раньше между женщинами существовало какое-то соперничество. Возможно, тетя Евгения, невестка моей матери, предложила благотворительную помощь, от которой мать отказалась. А может, они даже любили одного и того же мужчину, моего отца. В семейных историях часто встречается такая ревность. И не стоит даже особенно задумываться над этим. А как некоторые хотят изменить прошлое! Я видел, как взрослые люди совершали исключительные глупости, пытаюсь притвориться, что все произошло не так, как на самом деле. Все мы стремимся предстать в хорошем свете, конечно, но некоторые идут ради этого на удивительные жертвы.

Мы сидели в комнате около двадцати минут, тетя Женя безмятежно ворковала, как канарейка. Я почувствовал, что мои глаза уже слипаются, но внезапно хозяйка закричала, как попугай:

— Еда!

Я оживился. Мы перешли в другую комнату. Этот дом был настоящим замком. На столе стояли красно-белые немецкие суповые тарелки и огромное блюдо с борщом, украшенное видами Данцига или Мюнхена. Я заметил также два разных вида хлеба и масло. Я тотчас сел, но Шура покачал головой и сказал, что ему нужно уходить.

Я научился никогда не отказываться от еды. К тому же я уже не мог отличить реальность от фантазии и надеялся, что пища

поможет мне спуститься на землю. Борщ, цветом напоминавший рубины, оказался превосходным — ароматным и густым. И пока тетя Женя продолжала говорить, я непрерывно ел. Я уже раздулся от еды к тому времени, как раздался крик:

— Спать!

Невысокая девушка с рыжими волосами и добрым лицом появилась вновь. Она была какой-то бедной родственницей, работавшей в качестве прислуги.

— Ванда, проводи Максима Артуровича в его комнату.

Девушка подхватила мою сумку одной влажной, красной рукой, а другой указала на дверь. Я последовал за ней. Тетя Женя пожелала доброй ночи и поцеловала меня. Если что-нибудь потребуется, я мог спросить у Ванды. Мы вышли из столовой, преодолели несколько пролетов по темной, покрытой тяжелыми коврами лестнице; на каждом этаже нас встречали новые запахи. Наконец мы достигли верхнего этажа, и Ванда отворила дверь.

— Я живу рядом, — сообщила она, шагнув вперед, в красновато-коричневую полутьму, и повернула кран, сделав огонь газовой горелки поярче. — Вот мы и на месте.

Я не сразу понял, что в моем распоряжении оказалась целая комната. Настоящая кровать, туалетный столик, комод, жалюзи, которые я мог задвигать и раздвигать, окно... Я подошел к нему. Оно выходило на площадь — сквозь дымку проступали желтые фонари и мрачные тени. Из одного из далеких таинственных зданий донесся звонкий смех, чей-то крик эхом прокатился по площади — ведь было уже поздно, и даже Одесса погружалась в сон. Теплое тело Ванды прижалось ко мне. Она показывала, как пользоваться жалюзи.

— Лучше всего держать их закрытыми, если у вас горит газ, — пояснила она. — Мотыльки.

Ее голос был ленивым, мягким и приветливым. Позднее я узнал, что так разговаривали все южане, но тогда решил, что она особенно мила. Это крепко сбитое создание произносило звук «р» так, что он звучал сексуально. Я даже не мог уловить смысла ее слов.

— Что?

— Мотыльки.

— Ах да.

Я вспомнил о мотыльке на шашке казака, о чудесах недавнего путешествия, о потрясающих первых впечатлениях. Я едва не плакал, благодаря Ванду и наблюдая, как она уходит. На двери я обнаружил задвижку. В кувшине на умывальнике была вода. Я осмотрел ночной горшок и коврик, чистые белые простыни, стеганое одеяло и две подушки в вышитых наволочках. Какие щедрые родственники! И какие богатые! Я не имел ни малейшего представления об этом. Мать упоминала, что они зажиточные, но никогда не говорила, что они владеют целым домом, а возможно, и двумя, ведь по соседству располагались конторы. Я вновь подошел к окну. Тяжелый запах увядающей сирени поднимался с площади. Я ощутил дуновение южного ветра, запах теплого ночного моря. Потом лег спать. Решив в полной мере насладиться своей свободой, я помастурбировал, думая о Ванде и ее большом, пассивном теле, затем о Зое и, наконец, когда все кончилось, об ангелочке Эсме. Как поразили бы ее мои рассказы об Одессе! Я лежал на спине в темноте, всматриваясь в открытое окно, наслаждаясь острыми ощущениями от того, что впервые ночью один в комнате. Я заложил руки за голову, с восхищением улыбнулся, думая об окружающей меня роскоши, обратился к воображаемым друзьям и поведал им о моей удаче. Я понял, засыпая, что мысленно уже начал подражать уверенным движениям Шуры. Я уже наполовину покорился его обаянию. И меня это радовало.